



Ирина Степановская
Реанимация чувств
Серия «Доктор Толмачёва», книга 1

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=637425
Реанимация чувств: Эксмо; М.; 2011
ISBN 978-5-699-50054-3

Аннотация

Доктор Валентина Толмачёва, Тина, любила свою непростую и не очень благодарную работу и с большой теплотой относилась к коллегам, которые вместе с ней работали в отделении реанимации самой обычной больницы.

По сути, это и была ее семья – так уж получилось, что, кроме работы, у Тины ничего не осталось – с мужем они с самого начала были разными людьми, а потом и вовсе стали чужими. Сын-подросток тоже отдалился от нее.

А потом – крах, катастрофа! – работы тоже не стало.

Но когда закрывается одна дверь, непременно открывается другая. Оказывается, можно просто жить, радуясь простым мелочам, и, конечно, любить.

Ранее роман издавался под названием «День за ночь».

Содержание

От автора	4
1	8
2	11
3	18
4	27
5	34
6	39
7	45
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Ирина Степановская

Реанимация чувств

От автора

Этот роман написан врачом про врачей и в первую очередь для врачей. Автор надеется пробудить у них надежду и напомнить, что мы не одиноки в мире, рассказать о трудной судьбе и работе медиков.

Все персонажи и истории болезней в романе вымышлены.

Автор имеет совершенно другую медицинскую специальность и потому заранее просит прощения у коллег за возможные неточности в описании практических случаев.

...И когда в осенних сумерках в больнице шла кропотливая, нудная, грязная и трудная работа, на Олимпе среди зелени и яркого солнца пировали веселые медицинские боги. Они от души хохотали, пили и пели и лишь изредка вспоминали о земных делах.

– Ну, как они там? – вдруг спросил самый молодой из них, внезапно став ужасно серьезным.

– Стараются помаленьку, – ответил тот, что считался у богов самым старшим, – толстый кудрявый грек в хитоне.

– Может, им помочь? – не унимался серьезный. Он был по происхождению немец, и у него была страсть всех учить. При жизни ему, пожалуй, выпало неприятностей больше, чем другим. Он еще сравнительно недавно прибыл ОТТУДА и поэтому все думал о тех, кто внизу. Он даже смешно вытягивал шею, будто мог видеть, что же все-таки происходит ТАМ, хотя ему очень мешал натиравший кружевной воротник.

– Зачем? Они все знают сами, – удивился третий. Этот был еще и философ. Азиатский халат и выцветшая шелковая чалма очень подходили к его тюркскому профилю.

А четвертый, который родился в Швейцарии и чья настоящая фамилия была никому не известна, все смешивал вещества в прозрачных дымящихся колбах и бурчал под нос:

– Все они знают, и даже побольше нас. А я валяю дурака для собственного удовольствия, пытаюсь извлечь золото из всякого хлама. ТАБЛИЦУ уже без меня открыл один русский. Он тоже, кстати, теперь где-то здесь. Мы могли бы пригласить его в гости...

– Просто жаль, что те, кто пока еще там, внизу, могут быть очень сильно биты, – вздохнул, сказал немец.

– Ошибки присущи не только людям, но и богам, – заметил философ.

– Давайте же выпьем за то, чтобы те, кто еще там, совершили как можно меньше ошибок! – громогласно воскликнул самый старший, и боги с грохотом соединили над головами алмазные кубки.

Вино, искрясь, еще переливалось из них, когда на Олимп, не дрогнув, не постучавшись, ворвался кокетливый ангел в белом халате с пергаментным свитком в руках.

– Подпишите заключение консилиума! – громко продудел ангел в сияющую трубу. Самый старший, крякнув, отставил кубок и взял в руки лебяжье перо.

«Гиппократ» – вывел он твердо.

И остальные тоже оставили свои витиеватые подписи: «Авиценна», «Парацельс», «Ганеман».

– Доктор, доктор, ну что это с вами? Полчаса уже прошло, как вы не можете мне в горло этой трубой попасть! Вы, мне кажется, совершенно пьяны!

– Это я-то пьян? Я всего лишь анестезиолог, а вот вы сейчас посмотрите, какие к вам хирурги придут!

Из разговоров в операционной

Самолет, сделав плавный разворот, выровнял плоскости и изготовился заходить на посадку. Уже угадывавшаяся глазом земля – огромная, дышащая теплом, как гигантская опара, медленно приближалась, наступая откуда-то снизу в мареве вечерних сумерек, в черных пятнах лесов, в блеске озер и, наконец, в море огней цивилизации. Сам воздух, который с посвистом рассекали подрагивающие от напряжения самолетные крылья, казался живым, густо-фиолетовым и тяжелым, пахнущим пряностями и травой.

Стюардесса в синем костюмчике проверила, пристегнуты ли у немногочисленных пассажиров ремни, и ушла на свое место в закуток, отгороженный занавеской. Этот поздний, неудобный ночной рейс был почти всегда малолюднен. Командированным неудобно прилетать в Москву ночью, они выбирают для полетов утренние часы. А этим рейсом летали те, кто возвращался домой, таких путешественников набиралось немного.

Валентина Николаевна Толмачёва, пассажирка второго салона, привела спинку кресла в вертикальное положение, с трудом всунула ноги, отекавшие за время полета, в узковатые ей черные туфли и тоже приготовилась к посадке. В крепких ладонях она вертела прозрачный стаканчик из-под минеральной воды и думала, что, наверное, неудобно будет оставлять его в сетке для газет. И как это она умудрилась пропустить момент, когда стюардесса красиво вышагивала по салону с розовым подносом в руках, собирая посуду? Тем не менее Валентина Николаевна не стала обременять авиакомпанию пластмассовыми отходами и бросила стакан в свою выдавшую виды черную замшевую сумку.

«Багаж у меня небольшой, до первой урны не надорвусь», – решила она и опять стала глядеть в иллюминатор. Самолет летел вслед наступающей ночи, и огромное багровое солнце на протяжении всего пути, казалось, зависло над горизонтом. Но теперь оно очень быстро оказалось за кромкой видимости, и в небе почти мгновенно разлилась чернильная темнота. Самолет же пронзил островок мельчайших капель воды и, дрогнув от удовольствия, что так легко справился с этим препятствием, оказавшимся заблудившейся тучкой, вытянул все закрылки и выпустил шасси. Во рту у Валентины Николаевны пересохло. Заломило в висках и захотелось глубже вдохнуть. Голова и тело внезапно отяжелели и приплюснулись к креслу.

«Наверное, слишком быстро снижаемся, – подумала Валентина Николаевна. – Скоро давление выровняется, и все неприятные явления пройдут».

Самолет стало встряхивать. В салоне погас верхний свет, и только лампочки над сиденьями пассажиров да надписи над дверями служили источниками скудного освещения. За высокими спинками кресел людей не было видно, и Валентине Николаевне показалось, что в салоне она совершенно одна. И тут чей-то встревоженный низкий голос нарушил напряженную тишину, до того заполненную только натужным гудением самолета.

– В первом салоне – остановка дыхания! Доктора Толмачёву срочно просят пройти к седьмому ряду!

Валентина Николаевна ничего не могла понять. Каким образом, кто и откуда мог знать, что она летит этим рейсом и что она по профессии врач-реаниматолог? Она никому этого не говорила. Динамик между тем надрывался:

– Остановка дыхания! Давление на нуле! Доктору Толмачёвой необходимо срочно пройти в первый салон!

Валентина Николаевна попыталась встать. Непонятно почему сгустившийся воздух обволакивал ее лицо, шею, руки. Он давил на нее, не позволяя ей двинуться с места.

– Что за чертовщина! – вскричала она и невероятным усилием оторвала от сиденья спину.

В следующее мгновение Толмачёва уже неслась по проходу вперед, с трудом выдирая из этого странного воздуха заплетающиеся ноги, нелепо взмахивая руками, пыталась держаться за полки, чтобы не опрокинуться на спину в накренившемся резко вперед самолете.

В первом салоне на полу в проходе между рядами кресел лежало человеческое *нечто*. Валентина Николаевна даже не поняла, кто это, какого пола, да ей это и не было важно. Глаза существа были закрыты, как бывают подернуты пленкой глаза умирающей птицы. На пятне лица существа серый цвет кожи медленно переходил в буро-багровый. Губы были белы. Валентина Николаевна быстро, будто ее подкосили, кинулась на колени, успев, правда, сбросить с ног мешающие туфли, и приложила ухом к его груди. Сердцебиения не было. Валентина Николаевна подняла глаза и увидела стоявшую перед ней стюардессу с аптечкой в руках. Молниеносным движением доктор Толмачёва вытряхнула аптечку перед собой, снарядила лекарство в шприц, сделала укол в безжизненную руку, раздвинула пальцами чужие белые губы, вытащила из сухого рта синий узкий язык, повернула голову существа набок.

– И – рраз! – скомандовала она себе, сложила маленькие ладошки крест-накрест и с силой нажала человеку на грудь.

«Хорошо, что не хрустит под руками, – отметила она про себя. – Значит, ребра достаточно упруги, и я их не сломала...»

– И – два! – продолжала она командовать и нажимать на грудную клетку. На каждый четвертый счет она с силой выдыхала воздух в чужой липкий рот.

«Только бы не подцепить СПИД или сифилис», – мелькнуло у нее в голове. На счете «двадцать восемь» самостоятельное дыхание и сердцебиение у существа все не восстанавливались, и Толмачёвой пришлось сделать второй укол. На цифре «тридцать шесть» перед глазами у Валентины Николаевны поплыло, и к горлу подступила горькая тошнота. Она поняла, что слабеет, колени устали, руки дрожат. Когда с большим трудом она смогла выдохнуть: «Шестьдесят!» – тот, кто лежал перед ней, вдруг открыл глаза. Они были голубые и неживые, как чистое небо зимой, как вода в реке в солнечный октябрьский день.

И в этот момент Валентина Николаевна почувствовала, что колеса шасси коснулись земли, покатались по ней, с дрожанием преодолевая все неровности взлетно-посадочной полосы, чуть заметные при спокойном движении. Самолет пересчитал их все, пробегая с одного конца полосы на другой, не запнулся ни разу, облегченно вздохнул, спрятал закрылки, повернулся и встал, выключив двигатели. В салоне зажегся свет, и немногочисленные пассажиры все как один громко захлопали, благодаря пилотов за мягкую посадку.

«Куда же мне с ним теперь? Ведь мы загораживаем проход...» – растерянно подумала Валентина Николаевна, озираясь по сторонам в поисках исчезнувшей стюардессы. Спина у нее была вся насквозь мокрая, волосы растрепались.

– Вставайте, вставайте! Вы сделали все, что могли! – донесся сзади знакомый голос. Валентина Николаевна, обернувшись, с удивлением обнаружила поднимавшего ее с колен коллегу по отделению Валерия Павловича Чистякова.

– Ты, Тина, супер! Ты молодец! – приплясывал за ним тоже непонятно откуда взявшийся с бутылкой шампанского в руках другой доктор отделения – Аркадий Петрович Барашков.

– Вы здесь? Но откуда? И что нам дальше с ним делать? – недоумевала Валентина Николаевна, показывая на существо, все еще лежавшее на полу, но уже хлопавшее по сторонам волшебными глазами. – Нужно везти его в больницу.

– Не беспокойтесь! Все образуется само собой! – вдруг опять прогремел из динамика голос, который звал Валентину Николаевну на помощь. И, будто воспрянув от звуков этого громового голоса, существо на полу внезапно встряхнулось, приподнялось, превратилось то

ли в ангела, то ли в птицу, вытянулось в струну, оторвалось от пола и, сделав круг почета под потолком, вылетело в круглое окно внезапно раскрывшегося иллюминатора.

Валентина Николаевна, не привыкшая к подобным странностям, в совершенном изумлении хотела уже сесть в кресло, чтобы собраться с силами, но коллеги подхватили ее с двух сторон под руки. Прихватили и ее нехитрую поклажу – две объемистые сумки с продуктами: копченым салом, маринованными помидорами, поздними сливами да яблоками, дарами степного юга, гостинцами для ее мужа от живущих в Краснодарском крае его родителей – и потащили к выходу из самолета.

Стюардесса на прощание улыбнулась ей и помахала рукой, а Валентина Николаевна, выбравшись на трап, первым делом увидела мужа, который стоял рядом с самолетом на земле, но смотрел не на нее, а в противоположную сторону. Коллеги внезапно куда-то исчезли, оставив прямо на трапе все степные дары, и Валентина Николаевна изо всех сил замахала мужу руками. Напрасно. Она уже хотела сама спускаться по трапу и подхватила сумки, но с удивлением обнаружила, что стоит на поднятой к самолету площадке, а никакой лестницы нет. Валентина Николаевна закричала, чтобы кто-нибудь снял ее с высоты, но из-за шума двигателей других самолетов ее совсем не было слышно. Тогда стюардесса, пытаясь помочь ей, стала пронзительно трезвонить в звонок. Муж, не обращая на них никакого внимания, повернулся спиной. Валентина Николаевна уже почти задохнулась от отчаяния и страха, что напирющие сзади пассажиры толкнут ее вниз... Набрав в грудь максимально возможное количество воздуха, чтобы закричать, она открыла рот... и проснулась.

Будильник рядом с изголовьем захлебывался от возмущения, что его не слышат. Стрелки на циферблате показывали привычный для пробуждения утренний час. Валентина Николаевна потянулась в постели и выдохнула несколько раз, пытаясь утихомирить бешеное биение сердца.

«Приснится же какая-то чертовщина! – подумала она. – Не съела ли я на ночь чего-нибудь плохого? Я последний раз и летала-то на самолете три года назад!»

Валентина Николаевна постаралась выкинуть из головы странный сон, спустила ноги с постели, нащарила ими тапочки, помассировала затылок, встала и направилась в ванную. Муж, видимо, уже ушел на работу, но сын в своей комнате еще спал, по-мальчишески широко раскинув на диване руки и ноги. В кухне горел свет, а за окном еще не рассеялась утренняя темнота, скрывавшая до поры до времени осенние листья и мокрый от дождя тротуар. Чарли, пушистый черный колли, постучал по полу хвостом, приветствуя хозяйку со своего коврика в коридоре.

– Здравствуй, милый! – поздоровалась Валентина Николаевна. И уже после душа, войдя в комнату сына, сказала, потрепав ершистую мальчишескую макушку:

– Алеша, вставай! Пока я готовлю завтрак, походи погуляй с собакой!

Ей пришлось повторить эту фразу раза четыре, пока наконец сквозь привычное сопение чайника и ритмичный стук ножа, которым она нарезала колбасу на бутерброды, не послышалось радостное повизгивание собаки и громкий хлопок закрывшейся входной двери.

«Дежурство у меня послезавтра. Значит, сегодня обойдемся той едой, что есть в холодильнике. А фирменный борщ на два дня нужно будет сварить накануне дежурства», – подумала Валентина Николаевна, поставила тарелку с бутербродами на стол, налила в кружку сына кофе и отправилась в спальню собираться на работу.

1

В палате номер один отделения анестезиологии и реанимации одной из самых обычных московских больниц дежурный врач Аркадий Петрович Барашков в который раз посмотрел зрачки лежавшего перед ним тела. Зрачки были узкие, черные, а тело маленькое и хрупкое. Пока, если верить приборам, оно еще принадлежало шестнадцатилетней школьнице, с виду застенчивой мечтательнице Нике Романовой. Еще сутки назад Нику можно было бы назвать юной красавицей, но в сегодняшнее отвратительно темное, холодное осеннее утро определение «красавица» к ней уже совершенно не подходило. Сейчас девушка была без сознания. Распухший язык, покрытый черноватым налетом, не помещался во рту, и кончик его торчал сквозь приоткрытые, растрескавшиеся губы. Безобразные, вспухшие следы ожогов багровыми змеями ползли вниз по подбородку и шее. Глазные яблоки закатились вверх, нос распух, а из ноздрей виднелись остатки коричневой пены. И лишь ровные, тщательно подправленные пинцетом стрелки бровей да скульптурно-мраморный лоб выдавали бывшую красоту. Темные волосы сбились в колтун, и молодой врач – очень маленького роста, просто крохотная, Марья Филипповна Одинцова, которую все в отделении звали просто Машей, а еще чаще Мышкой, заботливо прикрыла нерасчесанный каштановый Никин «хвост» марлевым полотном.

– Погибает девочка, черт побери, – не обращая ни к кому конкретно, сказал Аркадий Петрович, посмотрел на часы и стал делать записи в истории болезни...

– Не помрет, так инвалидом останется. Еще неизвестно, что лучше, – заметила реанимационная сестра Марина, прибирая на своем столике медикаменты.

Марина, в противоположность Мышке, была статная, полная, очень решительная. За словом в карман обычно не лезла. Зеленый медицинский халат сидел на ней как влитой. Но сейчас она одернула свой халат быстро, сердито. Она не любила, когда ее кумир Аркадий Петрович был в таком настроении.

– На лице ожоги еще ладно, а вот в пищеводе... Как поется в песне: «Будет пищу принимать через пупок».

– Может, выдержит... – робко сказала Мышка. – Может, почки еще и не откажут? – Ростом Одинцова была Марине по грудь и поэтому вопросительно и с надеждой смотрела на нее снизу вверх.

– Как не откажут-то?! – заорал вдруг бешено со своего места Аркадий Петрович. – По волшебству, что ли? Это – гемолиз! Эритроциты распадаются миллионами... какие почки, какая печень тут выдержат? Дуры вы старые! – Он сделал вид, что в раздражении сплюнул.

Мышка потупилась, подошла к белому функциональному ложу, на котором лежало то, что считалось девушкой Никой, и взяла «это» за руку...

– Это кто из нас, интересно, старые дуры? – обернулась к Барашкову и тоже на повышенных тонах спросила измученная дежурством Марина. – Мне, с вашего позволения, двадцать восемь лет! Марье Филипповне – двадцать четыре, а этой девочке на вид – вовсе четырнадцать! Что вы кричите-то? Если она сдуру напилась уксусной кислоты, мы все виноваты?

– Извини, – сказал доктор Барашков. – Ей шестнадцать вчера исполнилось. Она ровесница моей дочки. Жалко девочку. А вы, – в голосе его появились нравоучительные нотки, он обвел девушек светло-кариими, в золотистых ресницах глазами, – сразу, как придете домой, чтоб немедленно достали из кухонных шкафов и из всех укромных мест уксусную эссенцию и выкинули ее на помойку! Если не хотите себе вот таких неприятностей!

– Я дома эссенцию не держу. Насмотрелась уже, – сказала Марина.

– Вот и правильно. А ты поняла, Мышка?

– Поняла, Аркадий Петрович.

Больная вдруг беспокойно зашевелилась, беспорядочно задергала головой, ногами и замычала. Мышка поскорее прижала ее покрытую липким потом голову к поверхности ложа. Ника все беспокоилась, куда-то рвалась, вены у нее на шее посинели и резко вздулись. И пока Барашков отдавал приказания, а сестра колола лекарства в пластиковые трубки, подведенные в вены, Мышка держала Нику, опасаясь, что вылетит трахеотомическая трубка, вдетая в послеоперационную рану на шее.

Был момент, когда девочка на миг пришла в сознание. Ее зрачки устали прямо на Машу, и той стало жутко. На нее смотрело *нечто* – существо бесполое, изуродованное, обезумевшее от боли. Однако Мышка, справившись с собой, громко сказала, вполне профессионально похлопав Нику по руке:

– Все будет хорошо. Сейчас тебе снова надо поспать. Во сне ты не будешь чувствовать боли!

В ответ Нику вдруг начало рвать, и Мышка едва успела поймать быстро поданный ей зонд. Аркадий Петрович поддерживал больную под спину и голову.

– Отсасывай, черт возьми! Как бы не задохнулась!

Запах был отвратительный, но Мышка его не чувствовала. Она старалась действовать аккуратно и тщательно. Наконец зонд можно стало убрать. Ника издала какие-то новые звуки.

– Что она говорит? Или просто стонет? – не поняла Маша.

– Она говорит «ради бога», – пояснила реанимационная медсестра.

– Что – «ради бога»?

– Откуда я знаю? Кто говорит «ради бога, спасите!», а кто и «ради бога, не мучайте!»

– Марина уже достаточно повидала на своем веку.

Больная затихла. Дыхание стало ровнее.

– Ну, хватит болтать! – Аркадий Петрович не любил разговоров, в которых не участвовал сам. – Ночь кончилась, на дворе утро. Сейчас соберутся все, придет Валентина Николаевна, и будет у нас новый день. Завершится, наконец, мое сегодняшнее дежурство. Как я устал! Да и вы, девочки, наверное, тоже.

Большой, мрачный, весь в золотистых кудрях, с рыжей бородой и таким же рыжим пушком на мускулистых руках, в молодости напоминавший греческого бога, Аркадий Петрович снял зеленую хлопчатобумажную шапочку, расстегнул халат, растер заросшую кудрявыми волосами незагорелую грудь, сел на круглую табуретку в углу и стал составлять отчет. Марина украдкой внимательно смотрела на него. Лицо у Барашкова было простое, а взгляд часто светился хитрецой. Теперь, после ночного дежурства, веки у него покраснели от бессонницы, под глазами ясно наметились мешки, и весь его вид свидетельствовал, что когда-то юный классический бог состарился и устал, хотя лет ему было еще совсем немного.

«Работает мужик на износ», – подумала Марина. Сердце ее кольнула жалость.

– Марина, сколько сейчас времени?

– Почти семь утра.

– Как на улице?

– Не знаю, все еще сумерки. Наверное, холодно. Дождь.

– Терпеть не могу, когда холодно. Сейчас бы выпить коньячку да лечь в постель!

– У меня дежурство закончилось. Я так и сделаю! – промолвила медсестра.

– Завидую, – Барашков говорил, не отрываясь от отчета. – А нам с Мышкой тут еще весь день кувыряться. Но на утреннюю конференцию я сегодня не пойду. Пусть меня Тина зарежет!

По экрану прибора, подключенного к Нике, ползла почти правильная электрокардиограмма. Было тихо. Позвякивали в руках Марины медицинские склянки.

– Марья Филипповна, крошка! – проговорил Барашков. – Сходите во вторую палату, взгляните, как там?

Мышка бесшумно скользнула за дверь. Незаметно для себя Аркадий Петрович опустил голову на руки, казалось, на секунду закрыл глаза. Одна нога его быстро и беспомощно вытянулась, а голова стала клониться к столу и чуть-чуть не упала. Он вздрогнул и поднял ее. Так продолжалось несколько раз. Потом доктор вдруг сильно дернулся, встрепенулся, вскочил и быстро подошел к кровати больной.

– Долго я спал? – спросил он сестру.

– Минуты две или три.

– Кошмар! Знаешь, чего мне хочется больше всего на свете?

– Выспаться?

– Умница! Дай я тебя поцелую!

Сердце Марины замерло. Опять он шутит. Если бы он только знал, что значат для нее его слова. Как они волнуют! Вот таким – шутливым, добрым – она его любила. Но Марина за свою еще сравнительно короткую жизнь научилась не разводить сопли по каждому поводу, а собирать по крупицам маленькие радости этого мира. Это уж потом, ночью после дежурства, она будет вспоминать каждый его жест, каждое слово. Она знала, ее черед еще не пришел, и неизвестно, придет ли когда-нибудь. Но сейчас она тоже могла пошутить. Поэтому она улыбнулась и ответила:

– Пожалуйста! Если Валентина Николаевна не вздумает ревновать!

– Ничего, Тина простит, это дружески! – Но как только Аркадий Петрович притянул к себе приятно упругую Марину за крепкую талию, в палату тихо и незаметно вошла Мышка, увидела их объятие и покраснела.

2

Тина, вернее Валентина Николаевна Толмачёва, была заведующей отделением анестезиологии и реанимации этой больницы. В то время как доктор Барашков, Марина и Маша заканчивали утомительное дежурство, она в толпе других граждан вышла из метро на шумный, мокрый от дождя московский проспект.

Холодное мрачное утро гнало по небу осенние облака, а солнца не было и в помине. Лето в этом году вообще выдалось нежаркое, и люди, так и не прогревшиеся на солнышке, дружно ругали московский климат, держали наготове зонты. Тина ждала автобус на остановке. Вдруг стал накрапывать мелкий противный дождь, под стать сегодняшнему утру. Стараясь унять внутреннюю противную дрожь, Валентина Николаевна как можно выше подняла воротник белого плаща. Ее светло-русые волосы выбились из-под зеленой косынки.

Толмачёва была среднего роста, ни худая ни полная, все еще стройная, довольно молодая и могла бы казаться очень привлекательной, если бы не постоянно строгое выражение глаз и крепко сжатые губы. Такая серьезность совершенно не вязалась с чертами ее лица: широкими скулами, курносый веснушчатый носиком, зелеными раскосыми глазами. Постоянным казалось, что перед ними обиженная и озабоченная молодая женщина, но если пройдет какое-то время и женщина эта весело рассмеется, то всем вокруг станет хорошо на душе. Но время шло, а хорошенькое личико оставалось таким же озабоченным и серьезным. Вся беда была в том, что Валентина Николаевна себя миловидной давно не ощущала.

– Тридцать восемь лет – это много! – говорила она. Для себя она была женой, матерью, заведующей отделением, даже участницей «производственного романа», как она сама, иронически улыбаясь, говорила Барашкову, но уж никак не хорошенькой женщиной.

Сейчас Тина смотрела на поток машин, а перед глазами ее стояло жуткое видение. Она наблюдала эту безобразную сцену утром из окна спальни. Ее сын, семнадцатилетний Алеша, изо всех сил лупил кожаным поводком Чарли, их собаку, и весь двор оглашался его нецензурной бранью. Она знала, конечно, что Алеша не всегда бывал ангелом, но чтобы распустить себя до такого... Тина была в шоке. Чарли, их пушистый черный колли, с белым воротником шерсти на шее, с невероятно привлекательной, одновременно лукавой и грустной мордочкой, был ее любимцем и добрейшим созданием! Тина в который раз уже с горечью осознала, что не понимает сына. Она прекрасно видит, что он вырос не таким, каким она мечтала, но сделать с этим не может уже ровным счетом ничего. Внешностью, манерами, выражениями он теперь все больше напоминал отца. И только возясь с собакой, он иногда еще оставался ребенком, тем милым маленьким мальчиком, которого Тина раньше так хорошо понимала и любила больше жизни.

И вдруг такая картина! Ей было так жалко Чарли, что она готова была выскочить из окна и тем же самым поводком отдубасить сына прямо по его орущей физиономии. В своей жестокости он хуже животного. К счастью, она вовремя остановилась.

– Алеша, иди домой! – только закричала Валентина в форточку.

В ее ушах стояли грубые, бессмысленные слова, выкрикнутые только что поменявшимся мальчишеским баритоном. Она слышала жалобный визг, видела втянутую от страха голову собаки и сына, изо всех сил машущего ремнем. Откуда в нем эта жестокость? Разве она хотела, чтобы он вырос таким? Бабка с дедом да отец – вот откуда идет голос крови. Всякая живность для них – «скотина», которая должна приносить пользу: мясо и молоко, шкуру и копыта. А иначе нечего ее кормить, деньги на «скотину» тратить. Но почему так несправедливо распределяются гены? Почему сын унаследовал и внешность и характер мужниной родни? Почему теперь, когда он вырос, они пьют с отцом пиво банками и бочонками и смотрят по телевизору дурацкие боевики? Почему его не затащишь в театр, почему он не читает

книг, даже тех, которые предлагаются школьной программой? Боже мой, разве она об этом мечтала, когда решила родить ребенка?

Сын привел Чарли домой. Она тихо начала:

– Что это на тебя нашло? Плохо спал? С самого утра – и так раздражен. Пора уже научиться сдерживать эмоции!

В ответ сын отказался от завтрака и ушел в школу, изо всех сил долбанув дверь. Ей захотелось плакать. Подошел Чарли, просунул голову под руку. Тина отрезала ему кусок колбасы. Пес, довольный, улегся посреди коридора, держа колбасу между лап, чтобы наслаждаться ею. Казалось, он уже забыл о жестокости молодого хозяина. Но Валентина Николаевна забыть не могла, все думала: отчего, отчего так глупо, так бессмысленно все случилось в ее жизни? А когда она опомнилась, на часах уже была половина восьмого.

Она и забыла, что могла опоздать. Быстро накинула на старую кофточку белый плащ, повязала голову шелковой зеленой косынкой, схватила сумку с ключами, погладила Чарли и выскочила на улицу. Боже, что творилось в метро! Давно она не помнила такой давки. Скорей бы на воздух! И вот Тина стояла на остановке, и нервничала, и мерзла под осенним дождем, а никаких признаков автобуса все не было. По средам, как назло, в больнице проводились врачебные конференции под руководством главного врача, и, чтобы не выглядеть неподготовленной душой, надо было перед началом успеть просмотреть отчет за неделю, расспросить, все ли в отделении за сутки было в порядке.

Слава богу, этой ночью дежурил Аркадий Петрович, а на него можно всегда положиться. Как, впрочем, можно было положиться и на всех остальных врачей отделения: и на тридцатилетнего Ашота Гургеновича Оганесяна, и на пожилого уже Валерия Павловича Чистякова, и даже на Машу, врача-первогодку. Маша действительно была в отделении самой молодой. Но молодость не недостаток, она проходит быстро, Тина теперь это знала и по себе. Маша была очень способная девушка, и со временем, Тина не сомневалась, из нее мог выйти классный специалист. Просто сейчас Мышке требовалось набираться решительности и опыта. А вот Татьяна Васильевна, клинический ординатор второго года, по своей природе была слишком легкомысленна. Тина опасалась доверять ей серьезное дело. Но сегодня, к счастью, дежурили Аркадий и Маша. Значит, случиться ничего было не должно, и еще останется время, чтобы прочитать перед конференцией отчет. Но как хотелось еще успеть глотнуть горячего кофе и съесть кусочек сыра! Она не успела позавтракать, а в кабинете, должно быть, уже не осталось ничего съестного. Остатки кофе из банки она высыпала вчера. И больничный кафетерий, как назло, закрыт на ремонт!

Огромные уличные часы, приваренные к фонарному столбу, раскачивались под порывами ветра и грозили упасть прямо на голову. Она выскочила вперед – вот маршрутка! Битком! Все места заняты. Но ей терять нечего, она поедет стоя.

– Женщина, что вы толкаетесь! – Это ей.

– Извините!

С некоторых пор началось – «женщина», «женщина», «женщина»! Раньше все говорили «девушка». «Девушка, вы выходите?», «Девушка, я за вами» А теперь – новое качество: «женщина». Если это пришло бы к Тине лет десять назад, говорили бы: «Женщина, вы здесь не стояли!»

У них в семье по-настоящему зарабатывал ее муж, Василий, потомок кубанских казаков и крепких колхозников. Большинство семей в его родной станице всегда были зажиточными. У родителей мужа – большой дом, хозяйство, скот. Его мать до сих пор не понимает, как можно проводить в больнице день и ночь, когда дома некому купить хлеба. Сейчас, слава богу, с хлебом проблем нет, и Лешка уже вырос, так что эти разговоры остались позади.

А ее мама с папой, городские жители, привыкли жить от зарплаты до зарплаты. Хотя раньше, когда они с сестрой еще были детьми, они жили хорошо. Небогато, но спокойно и счастливо. Пока с Леночкой не случилось это несчастье. Да, Леночка... Может быть, если бы не тот ее злополучный прыжок с моста, Тина не стала бы врачом и не работала бы в больнице. Как все сложно перепуталось! Подумать только, один прыжок, страшный удар в спину – и сломана жизнь. Папа с мамой всегда были для них опорой, а когда Леночка из цветущей девушки-подростка превратилась в наполовину неподвижное несчастное существо, она, Тина, стала мечтать об одном: скорее бы выучиться, чтобы не отнимать на себя силы родителей. И училась она хорошо, и работала отлично. Но как-то незаметно получилось, что она теперь целиком зависит от мужа. Ее зарплата – не что иное, как виртуальная реальность, вроде бы есть, а практически ни на что не хватает. Это она еще получает больше других врачей, как заведующая отделением. Но если бы они жили с Алешкой вдвоем, можно было бы умереть с голоду.

Деньги Тина расходовать никогда не умела. Наверное, потому что работала всегда – день, ночь, еще день, еще ночь... При такой работе приходилось ловить, что успеваешь, а не то, что можно было бы купить выгоднее. В очередях она не стояла, не было сил, потом научилась обходиться. Если не удавалось купить колбасы – пекла пирожки с капустой. Не было зимних сапог – надевала под брюки мальчишковые ботинки, которые покупала в «Детском мире», благо ножка у нее была маленькой. Еще и смеялась, что экономит на разнице в цене. И потом, по сравнению с трагедией Леночки и родителей, привязанных до скончания века к больному ребенку, нехватка чего-либо материального казалась несущественными деталями жизни. Магазины она посещала урывками, а добытчиком по большому счету всегда был муж. Ему это нравилось: мясо, мебель, унитазы, обои были его стихией. А у нее, когда она бывала дома, на первом месте всегда был Алеша.

Муж считал, что в хозяйстве должно быть все. Правильно, наверное, считал. У его родителей кроме большого дома имелись еще виноградник, фруктовый сад, десятка два овец. Василий был плоть от плоти своей семьи. Она это понимала. Он и не мог быть другим. Другое дело, она сама была другая, а потому не знала, зачем ей такое хозяйство.

Тина не развелась с мужем исключительно потому, что не хотела, чтобы ребенок рос без отца. И еще она, наверное, трусила. Страшно в наши тяжелые времена (когда так все перевернулось в жизни, когда оказалось, что образование и умение без пробивной силы – ничто) остаться одной с ребенком, без поддержки. А то, что муж не простил бы ей развода, она точно знала. В станице, где он рос, разводиться не принято до сих пор. А теперь она сожалела, что вовремя не разошлась. Что с того, что у них приличная квартира, хорошая машина, была дача, а теперь скоро вместо нее будет большой загородный дом? Все это ей было чужое. А теперь еще чужим вырос сын. Если бы он унаследовал черты матери, не было бы так одиноко. Но сын оказался полностью на стороне и под влиянием отца. И что бы там ни говорили педагоги, она сама убедилась: если гены сложились так, а не иначе, ничего нельзя ни изменить, ни исправить. И мучиться бесполезно. Остается только два пути – терпеть или уходить. Но она ждала. Да и куда бы она пошла? В двухкомнатной родительской квартире ей нет места, хотя, она уверена, мама с папой приняли бы ее. Но она не могла повесить на них еще и переживания о ней, старшей дочери. А делать собственные сбережения, вернее, утаивать деньги от мужа, не приходило в голову. Она все-таки порядочная женщина.

Тина опомнилась. Ну и утречко выдалось сегодня! Черт знает, откуда лезут в голову посторонние мысли. Впереди новый день, много работы.

– Женщина, вы у больницы выходите?

– Выхожу!

Ну, теперь через дорогу – и все. Вот она и дома. То есть на работе. Но работа стала для нее домом. Или почти домом. Или вторым домом. Или все-таки первым? До начала конфе-

ренции оставалось время, двадцать пять минут. Может, успеет заскочить в магазин? Он ведь рядом. Прямо перед больничными воротами – «стекляшка», в ней обычно полным-полно больных, но сегодня с утра плохая погода, и они еще жмутся под одеялами, нежатся до начала утреннего обхода. Ей это на руку – очереди нет. Чашку кофе и кусочек сыру – и мир вокруг стал бы другим. Боже, какой дождь! Вот продавец, вот прилавок. Впереди нее гражданин, мирно читающий журнал. А перед ним еще дамочка, которая никак не может выбрать кусок колбасы.

– Ну можно же поскорее! Не бриллианты же выбираете!

Подумать только, она сказала такое! Что же удивляться, что Алеша сегодня лупил собаку! Она тоже выступила сейчас как хамка. Какое, по сути, этой женщине дело, что она, Тина Толмачёва, опаздывает на врачебную конференцию? Хотя, если разобраться – подумаешь, один раз за пятнадцать лет опоздает, что с того? Все равно ее в больнице все знают и простят. Нет, она все-таки жутко нервничает. Надо расслабиться и ни о чем пока больше не думать.

В магазин вошла парочка. Мужчина и женщина, уже не молодые. Женщина держала в руках цветы, желтые круглые хризантемы, они только недавно появились на улицах в киосках в этом году. Парочка наклонилась к витрине и стала обсуждать, какие конфеты купить. Наверное, кому-то в подарок. Потом они встали в очередь за ней, Тиной, и шепотом что-то другу говорили, говорили...

А они с мужем почти не разговаривали. Она совершенно не понимала, о чем с ним говорить? Да и Василий никогда не впутывал ее в свои дела, не делился. А дела у него были сугубо материальные. Сначала – как заработать денег, потом – где достать то, что хотел купить. Он, со своей деловой хваткой, смекалкой, склонностью быстро заводить знакомства и образованием инженера-строителя, попал в струю. Сколько людей хотели воспользоваться его услугами! Он был и подрядчиком, и проектировщиком, и удачливым торговцем в одном лице, имел репутацию хитрого, тертого делового человека, быстро приспособившегося к временам. Муж умел лавировать между необходимостью платить налоги и иметь «крышу» – словом, с ним можно было вести дела.

Тине в его жизни места не было, а работа мужа ее совершенно не интересовала. Толмачёва, выросшая в небогатой московской семье (мать была учительницей в школе, а отец – преподавателем истории в институте), выбрала специальность и образ жизни еще в ту пору, когда для этого не нужны были баснословные деньги, и привыкла гордиться знаниями, а не богатством. Над такими, как она, смеются модные красавицы, проводящие свободное время в косметических салонах и бутиках. Ей были не нужны дорогие вещи; она говорила: что ни надень – под медицинским халатом все равно ничего не видно. А потом, ей унижительно было просить деньги. Муж так долго выяснял, действительно ли добротную вещь она хочет купить, что к моменту, когда он все-таки давал ей деньги, весь запал у Тины пропадал, и вещь, как правило, оставалась не купленной. Еще Василий не любил дарить цветы. Считал, что это все равно что выбрасывать деньги прямо на помойку, минуя промежуточную стадию. Поэтому цветы она иногда покупала себе сама. Больные практически никогда не дарили. Их переводили из ее отделения в другие не в таком состоянии, чтобы они могли думать еще и о цветах, а родственники одаривали подарками и цветами врачей, уже заканчивающих лечение. Да и какие подарки могли быть в их самой обычной больнице, находившейся на бюджетном финансировании? Хорошо, если говорили «спасибо». А она редко когда слышала и это.

«Ну и хорошо, что он не покупает цветов, – думала она. – А то можно было бы умереть со скуки». На день рождения и праздник Восьмого марта муж дарил ей всегда одинаковые бордовые розы – дорогие, но ужасно безвкусные, ничем не пахнущие, привезенные из Аргентины, в то время как она была бы рада простому синему букету васильков или летней

белизне колокольчиков. День Тининого рождения приходился на середину июля, и ей было непонятно, как из всего многообразия цветов, которые продаются в Москве у каждой станции метро, муж не мог выбрать что-нибудь другое, кроме этих кровожадных роз в похоронной блестящей обертке.

Да, замужество – вещь тяжелая. Валентина была замужем уже много лет, и с каждым годом находиться рядом с мужем с одной квартире ей было все труднее. Он стал теперь такой большой и толстый, что заполнял собой все пространство. Вырос и Алеша. И она, невысокого роста, чувствовала себя маленькой пичужкой в сравнении с двумя гигантами.

Они называли ее «мать». «Мать, есть готово?» Это началось, когда Алеше было около пяти лет. Вначале она вздрагивала, когда муж называл ее так, и никак не могла включиться, что слово относится к ней. Но когда пятилетний Алеша, приехав от бабушки, тоже закричал во всю свою маленькую глотку: «Мать, есть хочу!», Тина поняла, что развернуть его мироощущение на сто восемьдесят градусов она будет не в силах.

– А что здесь такого? Нормальное обращение, – удивился муж, когда она пыталась поговорить с ним на эту тему. – Мои родители всю жизнь называют друг друга «мать», «отец» – и мы, дети, их тоже так зовем.

– Я не хочу, чтобы вы так звали меня, – сказала она. – Мы с Леной зовем родителей «мама» и «папа».

– То вы с Леной, – уточнил Василий. – Я так не привык. «Мать», «отец» звучит более солидно.

Вначале она хотела не отзываться, но это ни к чему не привело. К тому же жизнь была такая беспокойная и оставалось так мало времени для дома, что она решила не возбуждать по пустякам. «В конце концов, какая разница, – устало думала Тина, – суть одна, у них так принято, значит, не искоренить. Надо было думать перед тем, как выходить замуж, а теперь уже поздно».

Иногда, возвращаясь из больницы домой и наблюдая, как молоденькие девчонки профессионально водят машины и ловко управляют с компьютерами и современной бытовой техникой, Тина чувствовала себя безнадежно отсталой. Еще и поэтому она боялась оторваться от мужа.

Василий перестал ей нравиться внешне. Из высокого спортивного молодого человека, лучше всех игравшего в волейбол на любом пляже, он почему-то превратился в огромного толстого дядьку, много пившего, много курившего, сыпавшего двусмысленными анекдотами и жутко храпевшего по ночам. Иногда она вообще не могла понять, зачем и кому теперь надо, чтобы этот чужой, обрюзгший человек считался ее мужем. Неужели только затем, чтобы ей было кому готовить еду, подавать чистое белье и взамен брать у него деньги на жизнь? Без душевной близости трудно делиться мелочами. Так, она никогда не знала, где и с кем он в настоящий момент находится. Муж ничего не рассказывал, только говорил с усмешкой, что умеет вести дела. Вначале это обижало, потом она научилась обходиться без него. Вот так почти всю жизнь Тина и провела в больнице: день-ночь, день-ночь. Она знала двух богов: больница – Алеша, больница – Алеша. Зато стала хорошим специалистом. Кому только теперь это надо...

Ну вот! Оказывается, она так охала и вздыхала, так суежилась и дергалась, что умудрилась толкнуть стоявшего впереди гражданина.

– Ну извините! Что вы смотрите на меня, как солдат на вошь?!

Он удивился. Правильно: настоящая хамка. Голос визгливый, выражение лица, наверное, идиотское. Гражданин даже журнал сложил.

– Неужели непонятно, что я тороплюсь? Я же не нарочно вас толкнула! Читаете журнал, ну и читайте!

О господи, там и читать-то нечего! Одни голые тетки. А он их рассматривает. То так страницу перевернет, то другим боком! Со всех сторон хочет полюбоваться!

Покупатель обрел наконец дар речи:

– Если хотите, я вас пропущу вперед.

– Буду вам чрезвычайно признательна! Вы, видимо, никуда не торопитесь... Даже наоборот, у вас будет больше времени, чтобы разглядеть этих красоток во всех деталях!

Она терпеть не могла, когда ее муж приносил и смотрел порно.

– Если вам интересно, я рассматриваю не как любитель, а как профессионал!

– Вы сутенер, что ли? – удивилась Валентина Николаевна.

– Говорите же! – заорала вдруг ей толстая продавщица.

Тина проворно встала впереди незнакомца.

– Банку кофе и двести граммов сыру.

– Какого кофе, какого сыра? – Продавщица выпучила на нее глаза. – Сами говорят, что торопятся, а потом сказать толком, что им надо, не могут!

– Сыру любого острого, а кофе хорошего, какой есть!

– Сто пятьдесят два рубля! – механическим голосом прокричала толстуха и выкинула вместе со свертками чек.

– Слава богу, успела! – не сдержавшись, вслух выдохнула Тина и, даже не поблагодарив незнакомца, схватила два пакета и помчалась коротким путем, через дыру в больничном заборе. Человек с журналом с интересом глянул ей вслед через стеклянные стены магазина.

– Шалава какая-то! – недовольно поджав губы, проскрипела продавщица. – Волосы растрепаны, плащ наперекосяк! Примчалась как бешеная! «Банку кофе и кусок сыру!» – довольно похоже передразнила она Тину. – Часто здесь появляется и всегда говорит так, что ничего не поймешь!

– Просто опаздывает, наверное, – предположил незнакомец.

В голосе его не прозвучало ни интереса, ни осуждения. Он был на редкость спокоен, продавщица даже поглядела на него с интересом. А покупатель, свернув окончательно свою газету, зажал под мышкой купленную бутылку самого лучшего коньяка, какой был в магазине, и проследовал в больницу через ту же дыру в заборе, что и Валентина Николаевна.

Тина же, ворвавшись вихрем в раздевалку для персонала, мимоходом пролетела мимо зеркала и не узнала себя в нем. Уже потом, в лифте, каким-то посторонним чувством она осознала, что растрепанная светловолосая тетка в сползшем с головы платке, с веснушчатым бледным лицом и зелеными, ненакрашенными глазами – это и есть она, заведующая отделением анестезиологии и реанимации Валентина Николаевна Толмачёва. Женщина, слывшая в больнице решительной, но не рискованной, имеющей обо всем собственное мнение, но предпочитающей красноречиво молчать и заниматься своим делом. Да, это была она, Тина Толмачёва, когда-то почетная институтская стипендиатка. А до этого – лучшее, подающее надежды сопрано музыкально-педагогического училища (но об этом Валентина Николаевна вспоминать и распространяться не любила).

– Господи, что это я так по-дурацки сегодня выгляжу!

Она торопливо стянула с головы платок и побежала от лифта по коридору своего отделения, чтобы не попасться в таком виде на глаза кому-нибудь, а главным образом – доктору Барашкову. И это ей удалось. Незаметно проскочив мимо ординаторской, Тина скрылась за дверью своего кабинета, и только одни глаза – очень черные, жгучие, под разлетающимися крыльями красивых бровей – пристально поглядели ей вслед из-за приоткрытой двери сестринской комнаты. Марина уже сменилась с дежурства, но Валентина Николаевна не заметила ее взгляда.

Она пулей влетела в свой кабинет, захлопнула дверь и на секунду спиной прислонилась к ней, чтобы перевести дух. В следующее мгновение резкими движениями сбросила туфли,

швырнула в кресло принесенные свертки, влезла в высокие «шпильки», стоявшие наготове у письменного стола, вонзила расческу в волосы, прошла по губам помадой, а по ресницам тушью, надела крахмальный халат, надушилась. На все эти приготовления у нее ушло две с половиной минуты – и без пятнадцати девять слегка еще запыхавшаяся, но уже спокойная и собранная Валентина Николаевна Толмачёва вошла в ординаторскую.

Случайно встреченный ею в магазине человек с бутылкой коньяка под мышкой в эту самую минуту обнимал главного врача больницы в его кабинете и крепко, на правах старого знакомого, пожимал ему руку.

3

За окнами посветлело. Из окна женской реанимационной палаты стоящий человек мог увидеть скучные серые многоэтажные дома, выросшие недавно прямо за забором больницы. Лежащему виден был только кусок такого же скучного серого неба, но за небом этим утром некому было наблюдать. Девочка Ника спала медикаментозным сном, медсестра, заступившая на дежурство вместо Марины, принимала лекарства и не имела обыкновения любоваться небесами, а Валерий Павлович Чистяков, доктор, сменивший Барашкова, не имел времени обращать внимание на небо.

Это был грузный пожилой человек с большим жизненным и врачебным опытом, обремененный огромной семьей: не очень здоровая супруга, две дочери, их мужья и внуки. У Чистякова были дача, на которой срочно нужно было вскапывать огород, и обычная трехкомнатная квартира, давно нуждавшаяся в ремонте. Поскольку все эти обстоятельства уже не позволяли ему чувствовать себя рассеянным романтиком, каким он ощущал себя в молодости, небеса он воспринимал в сугубо утилитарном смысле: интересовался осадками, чтобы не забыть зонт.

К тому же Валерий Павлович стал с годами порядочным брюзгой. Вот и сейчас, наблюдая за девочкой Никой, а также не выпуская из памяти и трех пациентов, лежащих в соседней палате, он что-то недовольно бурчал под нос. Но все уже давно привыкли к его глухо рокочущему бурчанию и не особенно обращали на него внимание. Зато когда Валерий Павлович бывал чем-нибудь недоволен, он поднимал тревогу громовыми раскатами своего сочного голоса, в сравнении с которым мягкий баритон Барашкова казался маленьким ручьем, бегущим к мощной горной реке, шумящей водопадами и порогами. Если же Валерий Павлович совсем расхотелся (а нередко случалось и такое), приходилось звать на помощь Валентину Николаевну. Она мягко обнимала Чистякова за круглую толстую талию и мягкий живот, напоминала, как много он сделал для отделения и лично для нее, говорила, как она ему благодарна за его опыт, за науку. И Валерий Павлович таял, потихоньку успокаивался и замолкал и потом долго сидел в Тинином кабинете. Они разговаривали о жизни и пили кофе, несмотря на то, что ему было нельзя пить кофе из-за повышенного давления.

Из окна мужской палаты виднелся тополь. Приятнее всего за ним было наблюдать весной, когда под лучами солнышка он распускал свои пахучие маслянистые почки. Летом из-за тополиного пуха невозможно было раскрыть окно – и все кляли на чем свет стоит неповинное дерево. К августу листья тополя желтели и покрывались бурыми пятнами. Сейчас, в начале октября, длинные ветки были уже по-зимнему голы и бледно-серы, а внизу под окнами земля была покрыта влажным золотистым ковром.

Из окна мужской палаты землю под ногами прохожих никто, естественно, не разглядывал, а вот из окна соседней ординаторской, где часто торчали те, кто курил, несмотря на строжайший запрет больничного начальства, кое-кто любил выглянуть вниз. Чаше других в ординаторской курили молодые, Татьяна и Ашот, причем окурки они гасили в горшке единственного на подоконнике чахлого растения с экзотическим названием «обезьянье дерево». Маленькая Мышка и Валерий Павлович не курили вовсе, а Аркадий Петрович, до того куривший мало и нерегулярно, после запрета начальства вдруг засмолил вовсю в знак протеста. Валентина Николаевна потихоньку тоже курила у себя в кабинете, но после этого обязательно пила кофе и жевала жвачку. Правда, Тина курила редко, только если в отделении случались какие-то неприятности. Из комнаты же медицинских сестер часто валили смачные клубы дыма. Бороться с этим, как хорошо понимала Тина, было абсолютно бесполезно, и потому просила лишь об одном: не попадаться на глаза высокому начальству. Но начальство редко заходило к ней в отделение. Да и что ему было делать там, где лежат самые тяжелые

и неблагодарные больные? Работа, казалось, была организована сама собой, специалисты хорошие – и жизнь в отделении текла замкнуто и размеренно.

Из окон же высокого начальства, расположенных в центре больничного здания на втором этаже, не было видно ни высокого тополя, ни серых домов. Прямо под окном кабинета главного врача расстилалась бетонированная дорожка к входу в больницу. Летом по обе ее стороны разбивали круглые клумбы с бархотками и петуниями, а зимой еще лет десять назад ставили с одной стороны большую елку, а с другой – огромного снеговика, вылепленного персоналом к Новому году. Теперь настроения лепить снеговиков ни у кого не было, и зимой клумбы заносило снегом, а к больничному подъезду вела плохо расчищенная дорожка. Машины «Скорой помощи» подъезжали с торца прямо к приемному отделению, а врачи и медсестры, спотыкаясь и падая, поддерживали друг друга, утапывая снег. Дворник же выходил расчищать дорожку и стоянку для машин лишь к двенадцати часам, когда весь персонал уже приходил на работу. Стоянка для служебных автомашин располагалась чуть дальше. В середине нее рядышком стояли больничная «газель» с красным крестом и подержанный «БМВ» главного врача. Туда же, вместе с другими машинами сотрудников, ставил свою беленькую «четверку»-пикап доктор Барашков, а кудрявый Ашот – «Ауди-80», подаренную братом. Валерий Павлович же солидно ездил на старой «Волге», которую приобрел еще на внешторговые чеки после четырех лет работы в Африке. Сейчас, в октябре, все эти и другие машины сиротливо мокли под мелким дождем, а последние бархотки на клумбе наполнялись осенней влагой и мечтали о теплых днях несостоявшегося бабьего лета.

Эту давно привычную картину из окна кабинета главного врача тоже никто не наблюдал. Желтые шторы на окнах были задернуты, на столе уютно горела зеленая лампа, а в специальных серебряных стаканчиках ждал ароматный коньяк. Секретарша внесла кофе.

В мягких кожаных креслах у бокового столика сидели двое мужчин. Один из них, в очках в золотой оправе, – главный врач. Другого, возле которого лежала свернутая в трубку газета, звали Владимиром Сергеевичем Азарцевым, и был он случайным магазинным знакомым Валентины Николаевны, а для главного врача – хорошим институтским приятелем. За дверьми кабинета в отдалении уже слышался, будто рокот волн, шум голосов, доносившийся из актового зала перед утренней конференцией. Главный врач понимал, что уже пора идти туда, в зал, но очень не хотелось вылезать из глубокого уютного кресла. Тем более что рядом сидел его сокурсник Володька Азарцев, с которым они не виделись уже несколько лет.

Володька – теперь отличный хирург, а раньше способный студент, любимец девочек – был единственный сын у родителей. Отец Володьки в советские еще времена служил большим начальником в каком-то штабе, считался очень перспективным молодым генералом, а родители матери были известными артистами. От былого великолепия, как осторожно сумел выяснить главный врач, у Володьки осталась большая дача артистов-предков и двухкомнатная кооперативная квартира где-то на обжитом Юго-Западе, подаренная отцом еще в их студенческие годы. Немало ночных часов, как помнил главный врач, проводили они тогда у Володьки на вечеринках в этой самой квартире. Теперь, должно быть, это банальная «двушка» в панельном доме с небольшой кухонькой. Самым ценным в этой квартире было ее местоположение.

– А супруга... – осторожно начал расспрашивать главный врач, ибо Володька ни словом не упомянул о жене. Женат Азарцев был (это помнили все) на фантастически красивой девице, тоже студентке медицинского института, но гораздо моложе его, к тому же участнице конкурса «Мисс какая-то красавица» или что-то в этом роде.

– Мне пришлось купить ей другую квартиру, – коротко прервал его Азарцев. – А старую, на Юго-Западе, оставить себе. Она дорога мне как память о родителях. – Володька

спокойно и открыто улыбнулся. Однако сам его тон не располагал больше задавать вопросы на ту же тему.

Годы совсем не изменили Азарцева: он был по-прежнему хорошо сложен и строен, выглядел и говорил так же, как раньше, только чуть тоньше стало его сухощавое лицо да глубже обрисовались морщинки. Главный врач даже с некоторым недовольством почесал свою лысину и животик.

– Дамы от тебя, наверное, по-прежнему без ума! – не без зависти произнес он. Но друг равнодушно пожал на это плечами. – А что касается твоего дела, – взглянув на часы, сказал главный, – после конференции я тебя кое с кем познакомлю. Заведующая реанимацией у нас очень грамотная и симпатичная женщина, если она сама не согласится, может быть, посоветует тебе кого-нибудь из коллег.

Он поднялся. Поднялся и старый товарищ.

– Подождать тебя тут?

– Подожди. Или, если хочешь, пойдем со мной. Только не уходи раньше времени. Посидим с тобой, вспомним друзей, кто где работает, кто как живет.

– Пожалуй, я посижу где-нибудь в зале, – решил Азарцев. – Начальственные кабинеты нагоняют на меня тоску.

Он снова взял свернутую трубкой газету, сунул ее под мышку, допил коньяк, тихонько вошел в актовый зал и устроился в последнем ряду у окна.

Валентина Николаевна Толмачёва все еще находилась в ординаторской своего отделения. Каждый раз, когда она входила в ординаторскую, когда там никого не было, ее поражали бедность и запустение, поселившиеся, казалось, навеки. Обшарпанные письменные столы, облезлый линолеум, шкаф для одежды такой, будто он пережил бомбежку, и апофеоз – стоявший посередине комнаты диван, обитый толстым синим дерматином. С пятью естественными вмятинами по числу мест сидящих, такой скрипучий и старый, что казалось, он появился в этой комнате еще до русско-турецкой войны. Никакой современной офисной мебели, никаких компьютеров – только пыль на подоконнике и везде журналы и книги: на полках над письменными столами, стопками на шкафу, на диване... Что Тину не могло не радовать – книги и журналы были медицинские, по специальности, и только у Татьяны на столе кроме учебников валялись еще журналы мод и фотографии известных кинокраaviц. По ночам, когда доктора разбредались по палатам и только на каком-нибудь одном столе горела тусклая настольная лампа, ординаторская напоминала бы суровую обстановку фронтowego госпиталя, если бы не современный приемник с магнитофоном, который был куплен в складчину, чтобы иногда в минуты затишья послушать новости. Телевизор в ординаторской тоже когда-то был, но потом сломался, и его унесли за ненадобностью. Тина, по совету Барашкова, несколько раз заговаривала о телевизоре с главным врачом, но тот отвечал, что по статусу телевизор отделению не положен. Заведующая не спорила, потому что сама телевизор почти не смотрела, да и в глубине души понимала, что лучше бы потратить больничные деньги на что-нибудь другое, например на капитальный ремонт отделенческого туалета. Поэтому на телевизоре не настаивала, не были ей нужны лишние неприятности.

Когда же в ординаторской собирались все, то в свете ярких личностей докторов как-то терялся непрезентабельный вид старой мебели, и казалось не важным, кто на чем сидит, а важно было только то, кто о чем думает.

Конечно, Тина понимала, что ей, как заведующей отделением, необходимо не только уметь хорошо лечить, но и создать условия, чтобы люди в короткие минуты покоя чувствовали себя комфортно не на продавленном диване или жестком стуле, а в физиологическом кресле, дающем возможность телу принять удобное положение, но... Что она, Тина, могла сделать, если на все следовал один ответ: у больницы нет денег.

– Мы – больница для бедных! Относитесь к этому соответственно, – не уставал повторять главный врач. Тина как-то хотела ему сказать, что, когда она, и Барашков, и Валерий Павлович начинали здесь работать, это была нормальная больница для всех, и для бедных, и для богатых, но решила не обострять отношения. Что бы это дало? Единственное, что могло в какой-то степени утешить Толмачёву, – то, что обстановка ее собственного крошечного кабинета немногим отличалась от ординаторской. Самый простой письменный стол с тумбой, два стула к нему, шкафчик для одежды да две книжные полки – вот и вся роскошь. Подоконник украшали небольшой электрический чайник – подарок коллектива на день рождения – да, как правило, пустая глиняная вазочка для цветов. Частью интерьера служил также клен, случайно выросший под самым окном Валентины Николаевны и многие годы радовавший сезонной сменой окраски листьев. Тина любила свой клен. На окне висели тюлевые занавески, принесенные из дома, но она никогда их не закрывала. Звездчатые листья летом спасали своей зеленью от жаркого солнца, а осенью – своим золотом – от депрессии, когда кто-нибудь из больных в отделении умирал. Правда, специфика отделения естественным образом с годами научила Тину спокойнее относиться к неизбежной статистике.

– У меня в отделении коллектив хороший, – говорила она. – Но утешителей только двое: старый тополь, видимый из окна мужской палаты, да мой нежный клен.

По весне, бывало, клен стучал в ее окно только что распустившимися кисточками нежно-зеленых соцветий – и Тина вспоминала, что скоро настанет лето, придет ее день рождения и она будет старше еще на один год. К своим годам она относилась спокойно. Возраст не обещал ей перемен в жизни. Насущней была проблема, чем угостить в день рождения коллег. Потом и эта проблема стала решаться просто, вопрос был только в том, сколько денег она могла потратить. Но на угощение Тина денег никогда не жалела.

– Господи, какой у вас холод! – сказала Тина и прикрыла дверь ординаторской. Из-за того что в комнате постоянно курили, окно не закрывали ни зимой, ни осенью, несмотря на холод. Тина обвела взглядом присутствовавших. Доктор Барашков сидел, согнувшись, за своим облезлым письменным столом, обнимая старый металлический чайник, из которого поднималась вялая струйка пара, и делал вид, что спит.

– Не обваритесь? – после общего приветствия спросила Тина.

– Руки грею. Замерзли, – Барашков, изогнувшись, повернулся на своем старом вертящемся стуле. – У нас до сих пор не топят! Хотя в детских учреждениях и больницах отопительный сезон должен начинаться раньше, чем во всем городе! Особенно когда на улице такая холодрыга!

Валентина Николаевна пожала плечами и улыбнулась. Иногда на Барашкова находило, и он ругал всех и вся, по делу и не по делу. Но почему-то его никто всерьез не принимал. Брюзжание Барашкова напоминало безобидное жужжание шмеля, да и сам Аркадий Петрович напоминал Тине это пушистое, яркое, поросшее золотистыми волосками насекомое. Она знала о пристрастии Барашкова к слабому полу, и ее веселило сравнение доктора со шмелем – он летал, опыляя все яркие цветы, которые попадутся ему по пути. Себя Валентина Николаевна таким цветком не считала, как, впрочем, и не считала себя хуже других.

Барашков был женат, Тина хорошо знала его жену, так как по стечению обстоятельств училась с ней на одном курсе. Сам же Аркадий Петрович был на два года моложе ее и окончил другой медицинский институт. Дома у него была одна жизнь, на работе – другая, Валентина Николаевна это знала и принимала за норму. У нее и у самой дома была другая жизнь. Ей и в голову не могло прийти рассказать мужу обо всем, что происходит у нее на работе, и она очень удивилась бы тому, что супруга Валерия Павловича Чистякова, например, знает об отделенческой жизни все во всех подробностях.

О семьях девочек, Мышки и Тани, Тина почти ничего не знала. И доктор Оганесян тоже хранил о своей семье гордое молчание, но не потому, что не был словоохотлив, а потому, что оказался в Москве одинок как перст и рассказывать было особенно нечего.

Корни, то есть предки, Ашота Оганесяна были в Армении, а ветви, то есть ближайшие родственники, перебрались в Америку. Сам он задержался в Москве – учился в институте, закончил клиническую ординатуру и сердцем врос в этот суетный город. Теперь Ашот находился на перепутье: жениться и устраиваться здесь или ехать к родственникам и жениться и устраиваться там. В больницу для бедных Ашот пришел работать специально. Он говорил, что такой практики, как здесь, нигде больше не найти. А если он уедет, то первые годы в Америке именно на такую практику ему и придется рассчитывать.

Маленький, черноволосый, кудрявый, Ашот лицом и фигурой очень походил на Александра Сергеевича Пушкина. Только глаза у него были не светлые, как у гения, а карие, но не присущего южанам жгуче-черного оттенка, а светло-карие с желтизной и зеленью, по выражению Барашкова, «цвета детской неожиданности». Ашот походил на Пушкина так, что некоторые больные, особенно те, кто удачно выходил из алкогольной комы, столбенели и первое время не могли понять, на каком свете они находятся. Некоторые, не склонные к анализу, так прямо с ним и здоровались:

– Здравствуйте, Александр Сергеевич!

– Добрый день! – приветливо улыбался Ашот. – Только Александр Сергеевич далеко, на Олимпе, где собираются боги, а я пока здесь с вами, зовут меня Ашот Гургенович, и я доктор.

Ашота все любили за прекрасный мягкий характер, склонность к юмору и философии. Сходство с Пушкиным доктора забавляло. Он даже считал, что, будь он таким же подвижным, маленьким, худощавым, но непохожим на поэта, над ним бы смеялись. А так сходство с гением вызывало уважение. В больнице Ашота так и звали – «наш Пушкин». Немногие ведь знали, что сам Пушкин с горечью, а некоторые его знакомые со злорадством упоминали о сходстве с обезьяной. Ашот об этом знал, в каком-то смысле он был пушкинист.

– Все мы приматы, – говорил он. – И это нас объединяет.

Сейчас Ашот сидел на своем любимом месте в ординаторской – на подоконнике – и курил. Увидев Валентину Николаевну, он погасил окурочек. Причем в горшке с обезьяньим деревом, несмотря на то что в углу подоконника сиротливо притулилась пустая банка из-под консервов, которую некурящая Маша поставила в качестве пепельницы. Никто в отделении, включая Тину, не знал, как правильно называется это растение. Уже никто и не помнил, откуда взялось это сомнительное название, но оно прижилось. Пока в отделении не было Маши, цветок вечно забывали поливать. Обезьянье дерево покрывалось пылью, мерзло от холода при открытом окне, но выживало. Деревянистый его ствол становился все более мощным и тянулся вверх. Нижние веточки постепенно отпадали, но верхние росли и составляли крону. С годами растение действительно стало все больше походить на дерево. Периодически оно теряло листья, и несколько лет назад доктор Барашков собирался начать вести график, чтобы установить, не совпадает ли время невыплаты зарплаты с листопадом, потому что, по мнению некоторых сплетников, дерево это приносило коммерческую удачу.

– Вранье! – комментировал эти слухи Ашот. – Дерево стоит тут уже двадцать лет, а денег как не было, так и нет. Вранье и непроверенные факты.

Как бы то ни было, зарплату потихоньку стали платить, потом даже понемножку прибавлять. Теперь дерево стояло в ожидании, что ему делать: загнуться окончательно, чтобы дальше не мучиться, или подождать, вдруг наступят и лучшие времена.

Тина к дереву не подходила. Пусть делают, что хотят, – их комната, их растения. Ее детищем была пальма, стоявшая в торце коридора. Отделению не полагалось кресел в холле для свиданий с больными (да не было и самих свиданий), поэтому коридор, застеленный

старым зеленым линолеумом в желтую клеточку, был абсолютно пуст; там не было ничего, кроме пары медицинских каталог да стеклянных дверей, замазанных доверху белой краской. И огромная пальма в старинной деревянной кадке с раскидистыми веерообразными листьями стала единственным его украшением. Тина иногда задумывалась, почему она так трепетно относится к тем немногим растениям, что ее окружают на работе, – тополи, клену за окнами да еще вот пальме. В юности никакого пристрастия к садоводству она не испытывала. Но если день и ночь, раздумывала она, находиться на пороге страны мертвых и ощущать, как, по сути, непрочно то, что называется жизнью, поневоле будешь тянуться к чему-то более устойчивому, земному. А что могло быть для Тины, большую часть жизни проводившей среди холодного кафеля палат, белых стен своего кабинета и пустого больничного коридора, более жизнеутверждающим и земным, чем эти скромные растения? Она с ними сроднилась.

Поливала пальму Тина сама и ревностно проверяла, проводя пальцем, стерли ли пыль с гофрированных пальмовых вееров. Стирать пыль полагалось во время генеральной уборки коридора, раз в неделю. В августе в отделении появилась Мышка и без лишнего шума, так же, как делала все остальное, взяла на себя заботу о местной флоре. Обезьянье дерево она опрыскивала из специального пульверизатора для глажения белья, а в кадку к пальме насыпала свежей земли из пакетика и посадила несколько веточек традесканции. Тину Мышка уверила, что вреда пальме не будет.

Сейчас Мышка тихо сидела за своим маленьким столиком, больше похожим на тумбочку, и листала анатомический атлас.

- А Таня не пришла еще? – спросила Тина, обводя взглядом комнату.
- Не изволила проснуться! – проворчал, выключая чайник, Барашков.
- Красивые женщины не опаздывают, они задерживаются, – прокомментировал Ашот.
- Вы купили цветы? – обратилась Тина к Ашоту. – У Тани сегодня день рождения.
- Канэшно! – смешно протянул Ашот. А Барашков сказал:
- Ну, если у нее день рождения, то, значит, сегодня на работу она вообще не придет!
- Ну-ну! Что это вы такое говорите! – укоризненно покачала головой Тина, хотя с Барашковым была вполне согласна.

Кроме яркой, бьющей через край красоты в Тане было мало хорошего. В этом Тина за год убедилась. Таня была нерадива, хотя и неглупа, в голове у нее творилось бог знает что – и Тина с удовольствием избавилась бы от такого работника, но была не в состоянии это сделать. Она и на работу-то ее не брала. Главный врач попросил оформить Таню, обучить и наставить на путь истинный. Да только где этот истинный путь, Тина и сама теперь часто не знала. А работник Татьяна действительно была никакой, во всем за ней нужен был глаз да глаз. Но сейчас Тина слишком торопилась, чтобы думать еще и об этом. Во всяком случае, не дело, что Барашков принялся при всех обсуждать коллегу.

- А кто же в лавке остался? – спросила Валентина Николаевна.

– Валерий Павлович пораньше пришел и уже заступил на дежурство, – ответила за всех Мышка, сидевшая в своем уголке.

– Ну тогда ладно. – Тина перешла к обсуждению текущих дел: – Сегодня, как известно, операционный день, – сказала она ровным голосом, как всегда, когда распределяла работу. – Ашот Гургенович и Аркадий Петрович идут в хирургию и там берут больных по своему усмотрению. Марья Филипповна с Валерием Павловичем работают в палатах. Таню, как именинницу, сегодня освободим. Пусть идет пораньше домой. Поздравлять ее будем, когда закончатся операции и все вернутся в отделение. А теперь, – Тина с ужасом посмотрела на ручные часы, – я пошла вниз, на конференцию.

Она протянула к Барашкову руку.

- Давайте отчет!

Доктор подал отчет за прошедшие сутки.

– Самая тяжелая – девочка, – сказал Аркадий Петрович, вставая, чтобы проводить Тину по коридору к лифту. Они вышли из ординаторской, и он ловко взял ее под руку. Она ощутила, как он слегка сжал ее предплечье, и подумала: «Почему бы не сегодня? Мужа нет, Лешка должен уйти на курсы». Тина посмотрела Аркадию в лицо. Вид у него был помятый, глаза мутные, веки красные от бессонницы. «Устал, наверное», – подумала она. Но все-таки вслух сказала:

– У меня квартира сегодня свободна.

Он как-то неопределенно пожал плечами, поднял глаза к потолку, замялся и наконец выдал:

– Если честно, я что-то устал. После дежурства поеду домой и завалюсь спать. Не обижайся.

– Конечно, конечно! – сказала она и посмотрела в сторону. Черт дернул ее лезть со своими предложениями! Она должна понимать, что он действительно чертовски устал. Хотя, с другой стороны, Тина помнила, что несколько лет назад он, несмотря на усталость, не только рвался под любым предлогом к ней домой, но и, как школьник, поджидал на выходе из больницы, чтобы только проводить до метро. Она-то, правда, никогда к нему таких восторженных чувств не испытывала, поэтому могла анализировать ситуацию объективно. Анализ оказался не в ее пользу. «Ну что ж, все когда-нибудь да заканчивается», – подумала Толмачева про себя, но высвободила руку и другим уже голосом продолжила:

– Ну, давай дальше про больных.

Ей показалось, что он вздохнул с облегчением. Вот уж напрасно. Что-что, а настаивать она никогда не будет.

– Койка с девочкой рядом пока свободна, – сказал Аркадий. – В мужской палате – трое больных. Один – алкаш с улицы в состоянии сильного опьянения, второй – с инфарктом из дома и третий – из хирургии после срочной операции. Этот третий – какой-то кавказец, которого здорово продырявили на Центральном рынке. Три огнестрельные раны – и остался жив. Оперировали четыре часа. Я давал наркоз. Кровопотеря была большая, мужики боялись, что придется добровольцев звать. Группа крови у него самая редкая, четвертая. Но у нас кровь еще есть, все в порядке, я проверял.

– Ладно, спасибо. Все, буду иметь в виду, – похлопала его по руке Валентина Николаевна.

И, уже выйдя в общий коридор, услышала, как Ашот, шедший следом, полушутливо, полугорестно протянул:

– Вот и меня в метро кавказцем называют, будто овчарку. Паспорт проверяют на каждом шагу, в душу лезут, норовят в нее наплевать...

– Милый, прости! – изображая пьяного, захлебываясь нарочитыми слезами, полез к Ашоту обниматься Барашков. – Ты знаешь, дорогой, как я тебя уважаю!

Они, обогнав на повороте Валентину Николаевну, раскачиваясь и очень натурально подвывая, будто были пьяны на самом деле, вышли из отделения и, бережно поддерживая друг друга, потопали к лифту. Докторов проводила удивленным взглядом молодая черноволосая женщина с красивым расстроенным лицом, дорого одетая, в мятом, накинутом на плечи больничном халате.

«Вот козлы! – воскликнула про себя Валентина Николаевна. – Хоть бы подумали, что о них могут сказать посторонние люди! И какого черта здесь эти посторонние шляются?!»

И не успела она так подумать, как незнакомая женщина заступила ей дорогу.

– Вы заведующая отделением реанимации?

– Что такое? – осторожно, боясь сказать что-нибудь лишнее, тихим голосом, каким всегда говорила с родственниками больных, спросила Валентина Николаевна.

– У вас наша девочка, Ника. Вероника Романова, моя дочь, – уточнила женщина, сообщив, что принимали больную по документам.

– Да, – только и ответила Тина.

Женщина приложила скомканный платочек к глазам. Но плакала она как-то странно, будто знала, что слезы ее унижают. Тина не любила таких людей. Ей было больше по душе искреннее проявление горя, пусть несдержанное, но и неприукрашенное. Она не понимала, зачем люди хотят показать ей не то, что есть на самом деле, даже перед лицом таких вечных вещей, как жизнь или смерть.

– К-как она? – спросила женщина спустя несколько секунд, успокаиваясь.

– Состояние тяжелое, – осторожно сказала Тина, ожидая, что последует дальше, и понимая, что уже безбожно опоздала и это не останется незамеченным начальством.

– Может быть, девочку перевести в институт Склифосовского? – промокнув слезы, задала вопрос женщина.

– Может быть. Как хотите... – пожала плечами Тина. – Мы делаем все, что в наших силах. Вы можете поступать, как считаете нужным, я ни в коем случае не буду препятствовать переводу. Но должна вам сказать, что в «Склифе» будут делать то же самое. И транспортировать девочку небезопасно. Аппарат для очищения крови у нас есть, он подключен. Поступайте как знаете.

Тина говорила сурово. Такие разговоры всегда ее раздражали. Если больному было необходимо что-то, что отсутствовало у них, она всегда первая говорила об этом родственникам. Другое дело, что люди в их больницу попадали простые, часто у них не было возможности воспользоваться ее советами. Но Толма-чёва всегда делала, что могла. У этой женщины, видимо, возможности были. Что ж, Тина не возражала, чтобы она ими пользовалась. Тем более что дальнейшая судьба девочки была действительно проблематичной. Очень возможно, что больную они могут потерять. Родственники тогда будут винить в первую очередь их, а потом себя – за то, что не сделали все возможное.

– Договаривайтесь со «Склифом» и переводите!

Тина хотела идти. Женщина смотрела на нее оценивающе.

– Спасибо, – медленно сказала она и, сунув в карман руку, вытащила несколько купюр. Свернув, не глядя, две из них, лежавшие сверху, убрала остальные назад. Глядя на Тину сверху вниз, двумя пальцами протянула ей деньги. Иногда, когда это было прилично обставлено, Тина брала деньги или подарки в благодарность за хорошую работу. К сожалению, это случалось редко. Специфика отделения: как только больным становилось чуть легче, вернее, как только их состояние стабилизировалось на отметке «жизнь» и опасность смерти отодвигалась на неопределенный срок, их быстро переводили для долечивания в другие, профильные, отделения. Выписываясь из больницы, больные вспоминали о реанимации как о состоянии беспамятства и ужаса, и редко кто из них понимал, что их пребывание на этом свете – чаще всего дело рук не богов, а Валентины Николаевны и остальных. Поэтому подарки в отделение приносили нечасто. Но жест этой женщины был откровенно глумливым, Тина быстро ушла, еле удержавшись от резкости. Та догнала ее у лифта.

– Возьмите же деньги, – сказала она.

– За что вы мне их предлагаете? – обернувшись, спросила Тина. – За лечение или за перевод?

– За перевод, конечно, – пожала плечами женщина.

– За бумажную работу я денег не беру! – сказала Тина и вошла в лифт. Лицо ее пылало от гнева. – Господи, как они к нам относятся! Как к прислуге! – шептала она, пока спускалась на два этажа.

Женщина, презрительно передернув плечами, спрятала деньги в карман и, быстро цокая каблуками, сбежала вниз по лестнице. На улице она села в блестящий черный джип и

исчезла из виду. А Валентина с лицом, покрытым красными пятнами, вошла в зал и, увидев, что главный врач недовольно сверкнул в ее сторону очками, не стала лезть к своему месту в третьем ряду, а плюхнулась на первое же попавшееся сиденье рядом с каким-то незнакомцем.

4

Ника спала. Дыхание ее было быстрое, шумное. Пульс частый, слабый, но пока ритмичный. Это действовали лекарства, поддерживающие автоматическую работу сердца. Опасности надо было ждать в первую очередь от почек и печени. Кровь Ники очистили, но никто не знал, справятся ли эти органы с шоком, смогут ли вывести шлаки распада. А ткани, сожженные кислотой, распадались заживо. Некроз – местная смерть, так учат патологоанатомы и физиологи. Пласты некротизированных слизистых оболочек из пищевода и бронхов невозможно было удалить – истонченные стенки могли прорваться. Вот тогда уже точно – гнойная инфекция, сепсис и смерть. Оставалось ждать, что организм отторгнет некротизированные ткани сам. Продукты распада отравляли почки, печень и головной мозг. Какие картины крутились в голове Ники и были ли они вообще, не знал никто. Может быть, девочка видела сцены вчерашней вечеринки по случаю ее дня рождения, может быть, картины детства, а может, она если не видела, то слышала или чувствовала прикосновения рук Мышки и Валерия Павловича или их голоса. Возможно, она ощущала, что не справляется с жизнью, и ее инстинктивное стремление к жизни теперь связывалось каким-то образом с грузным человеком в смешной зеленой пижаме, в очках, с толстым носом и сердитыми серыми глазами. И с маленькой девушкой в белом халатике, которая часто брала ее за руку. Руки у Ники были исколотые, запястья все в синяках, но, несмотря на это, ласковые прикосновения девушки, возможно, были ей приятны.

– Слушай, Маша, – сказал Валерий Павлович, в очередной раз подходя к Нике с фонендоскопом. Он ждал и боялся развития пневмонии. – Ее вчера привязывали к столу?

– Привязывали? – удивилась Мышка.

– Посмотри, руки-то все в синих пятнах. И синяки свежие, сине-багровые. Давность их сутки, ну максимум двое.

– Нет, ее никто не привязывал. Ее привезли при мне, вчера. Она была еще в сознании и очень кричала, держалась руками за горло. Ну, мы сразу, еще в приемном, ввели лекарства, и так и держим пока на них, чтобы она не металась от боли, спала. Мы ее не привязывали. Аркадий Петрович на руках переложил ее с каталки на стол. А потом он дал ей внутривенный наркоз, сделал трахеотомию и вставил канюлю в подключичную вену. За ночь были два периода возбуждения, я держала ее за плечи, чтобы не выпали трубки. За запястья никто не держал. Эти кровоподтеки на руках появились до нас.

– А вы в милицию-то сообщили?

– О чем? Об отравлении? Да, я сама звонила.

– И что?

– Ничего. Сказали, попозже придут, если выживет. Она ведь все равно сейчас говорить не может.

Валерий Павлович слушал легкие и морщился. Хрипов, правда, было полно, но девочка держалась.

– Давай, Маша, – он поднял дальнозоркие глаза через очки на Мышку, – вписывай в лист назначений максимальные дозы антибиотиков. Скажи сестре, пусть сразу начинает вводить в канюлю. – Валерий Павлович разогнулся, потер затекшую поясницу. – И пойдем в мужскую палату. Кстати, – вспомнил Чистяков, – не знаешь, чей это больной – не помню фамилию – алкоголик, которого привезли с улицы?

– Это Танин больной. – Мышка помнила все. Память у нее была превосходная. – Но у Тани – день рождения, поэтому Валентина Николаевна поручила больного Барашкову. Аркадий Петрович его смотрел несколько раз за ночь и сделал все назначения.

– Сделать-то сделал, – промычал Валерий Павлович и покрутил головой. Он всегда делал так, когда ему что-то не нравилось. Сначала крутил головой, а потом начинал гудеть. Вот и сейчас его голос приобрел оттенок паровозного гудка. – Алкоголик этот мне совсем не нравится. Он, по всем правилам, уже давно должен был выйти из комы, а он все лежит без сознания. Тут что-то не так. Позвони в хирургию, Маша, узнай, что там Аркадий делает, если сможет, пусть подойдет к телефону, надо поговорить.

Мышка послушно пошла звонить. Разговор был короткий. Больной Аркадия уже лежал на столе в плановой, «чистой» операционной, отгороженный на уровне шеи экраном от окружающего мира, и сосредоточенно глядел в потолок на зеркальные лампы. Двое хирургов в масках стояли, готовые к операции, подняв к подбородку помытые руки в стерильных перчатках, и негромко переговаривались. Позы их чем-то напоминали ангелов, собирающихся взлететь. Только сзади докторам словно крылышки кто-то подрезал, и теперь вместо них на спинах болтались беспомощные червеобразные отростки, тесемочки от завязок халатов. Халатов на липучках в этой больнице еще не видели.

Хирурги нетерпеливо топтались, подначивали Барашкова и ждали, пока он введет больного в наркоз. Аркадий шутил с больным, спрашивал, умеет ли он считать или все забыл от волнения, огрызался на хирургов и тем временем вводил в вену снотворное. Больной по его просьбе начал считать вслух до десяти, показывая, что счет все-таки не забыл, и на слове «восемь» как-то легко, сам собой, вдруг закрыл глаза. Аркадий взял в руки ларингоскоп и трубку и приготовился к интубации. Звонок Мышки по просьбе Валерия Павловича ужасно его раздражил.

– Вот что, Палыч, – сказал, торопясь, Барашков. – У меня больной сейчас уже спит. Ты подожди полтора часа. Или еще раз сам посмотри этого алкоголика. Тут ребята минут за пятьдесят с язвой управятся, я выведу больного из наркоза и подойду. Алкаш этот не помрет за полтора часа. Он более-менее стабильный.

– Где стабильный-то? – загудел в трубку Валерий Павлович. – Давление у него падает! Только выправишь, оно опять вниз!

– Ну что я сделаю, Палыч? – заорал в трубку Барашков. – Смотрите там сами! Меня хирурги ждут, не отменять же операцию! В конце концов, в следующий раз пусть пьет поменьше! – И в сердцах бросил трубку.

Хирурги, уже успевшие намазать больному живот смесью йода и спирта и ограничить операционное поле стерильными простынями, ядовито поинтересовались, будут ли они сегодня оперировать или им тоже пока лечь поспать. Барашков выматерился про себя, подошел к больному сзади, набрал в грудь побольше воздуха, чтобы сосредоточиться, медленно выдохнул, наклонился, одной рукой взял ларингоскоп, а другой – больного за челюсть и открыл ему рот. Через тридцать секунд аппарат искусственного дыхания был подключен, еще через минуту был сделан первый разрез. Время операции пошло.

А Валерий Павлович после разговора с Барашковым только крикнул, вернулся к алкоголику в мужскую палату, посмотрел зрачки, отследил давление, пульс, биохимические показатели крови. Процент алкоголя в крови снижался – медленно, но снижался. Конечно, первоначальные цифры были такие, что могли свалить и слона. Валерий Павлович пожал плечами, еще раз посмотрел снимки черепа, проверил состав вливаемых жидкостей и перешел к следующему больному.

Следующий больной был мужчина после инфаркта. Он-то как раз казался более или менее в порядке. «Скорая» привезла его из дома, он был весьма приличный человек, работающий и семейный, далекий от медицины. Происходящее шокировало его не меньше, чем сознание, что у него, сравнительно нестарого еще человека, случился инфаркт. Больной этот никогда не смотрел по телевизору сериал «Скорая помощь» и соответствующей психологической подготовки не имел. Зрелище в палате для нормального человека, конечно, не относи-

лось к разряду приятных. Слева лежал без сознания небритый и грязный алкаш, доставленный прямо из канавы, и инфарктнику иногда казалось, что в спутанных волосах соседа кто-то шевелится. А справа оказался тонкий, почти невесомый, с кожей серо-буроватого оттенка человек кавказской внешности. На вид молодой, беспокойный, постоянно ругающийся по-русски и весь утыканный трубками капельниц. По одной трубке в его зеленоватые вены текла кровь, по другой – какая-то прозрачная жидкость.

Чтобы не смотреть на соседей по палате, больной с инфарктом разглядывал небо за окном, серый тополь и ужасно скучал. Как большинство мужчин его возраста, он не умел правильно оценить тяжесть своего состояния и потому несказанно обрадовался, что скоро его переведут в обычную палату. Во-первых, он думал, что опасность уже миновала, а во-вторых, соскучился по жене, ему было холодно лежать голому под тонкой простыней и хотелось горячего чаю и супу.

– Заполню историю болезни, и поедете в кардиологию! – сказал Валерий Павлович.

– Спасибо, доктор! Вы – царь и бог!

– Я выпишу пропуск жене, чтобы пришла повидаться.

– А выпить рюмочку?

– Ни в коем случае. Пока не стоит. Всего хорошего! – Они пожали друг другу руки, причем Чистяков отметил, что рукопожатие больного было еще очень слабым. Валерий Павлович подумал, что неплохо было бы оставить его еще хоть на сутки, но следовало освободить койку для послеоперационных больных и еще одну на всякий случай на ночь.

Внимание доктора переключилось на кавказца.

– Как дела? – наклонившись к нему, прогудел Чистяков.

– Сделай укол! Укол сделай! Не могу терпеть! – Лицо больного было похоже на маску, искаженную гримасой страдания.

– Нельзя пока, потерпи! Укол тебе сделали час назад. Больше нельзя, будет передозировка. Сделаю укол перед перевязкой. Хирурги освободятся, придут. Тогда и сделаю укол. Он быстро подействует. А пока терпи. – Валерий Павлович постарался сказать это так мягко, как мог. В ответ раздалось ругательство.

– Укол жалко сделать! Только деньги надо давать! Я заплачу за укол! Сделай, терпеть не могу! Больно!

– Не жалко мне, а нельзя! – стал недовольно рокотать Чистяков. Невольно он подумал, что больному только кажется очень молодым из-за крайней худобы и лица, обтянутого кожей. А вообще-то ему, наверное, лет двадцать девять. Валерий Павлович заглянул в историю болезни. В графе «возраст» стояло «двадцать два». Он наклонился с трубочкой послушать легкие и внимательно посмотрел на кавказца.

– Что смотришь... – скривился тот. – Ты лечи, что просто так смотреть!

«Да, так и есть», – подумал Валерий Павлович. Перед ухом, пониже виска у кавказца уже наметилась предательская морщинка, она обычно появляется к тридцати годам. Вторая – к сорока. Природу не обманешь, а документы наверняка поддельные. Опять, что ли, звонить в милицию? Надоело и некогда. Много дел. Вот придет следователь к девочке Нике, тогда надо будет ему сказать и про этого. В милиции все равно уже знают про перестрелку на рынке, и «Скорая» тоже наверняка сообщила. Все равно парень пока никуда не уйдет. С такими ранениями быстро не встанет, даже если бы и хотел.

– Маша! – позвал он Мышку. – Пиши на больного с инфарктом переводной эпикриз да узнай, когда хирурги придут перевязывать кавказца. Правда, пока Барашков не освободится, они не придут. Смотри за Никой, а я посмотрю еще алкаша. Не нравится мне его давление. Мы ему жидкость льем, а оно падает, хотя должно бы стабилизироваться. И в сознание он не приходит. Вы ему ночью рентгенограмму грудной клетки делали?

– Делали. Снимки в ординаторской в большой папке, – сказала Маша. Они с Валерием Павловичем вышли из палаты и медленно шагали по коридору. Маша тоже пыталась понять, отчего никак не придет в норму давление у больного с отравлением алкоголем. – Травмы головы нет, грудной клетки – тоже.

– Черт знает что... – начал бурчать про себя, но на самом деле все громче и громче Валерий Павлович. – В больнице все на соплях. Магнитно-резонансного томографа нет, того нет, этого нет. Гадаем, как на кофейной гуще! Как можно диагностировать что-нибудь сложнее простой алкогольной комы, если в больнице ни черта нет! Зато кругом ресторанов полно, банков полно, а несчастного алкаша вытащить не можем!

– Сколько ни пить! – Это медсестра Марина вошла в ординаторскую за листом назначений. – Что вы переживаете? Других, что ли, больных нет?

– А что-то с ним не так! И я не могу поймать это «что-то» за хвост, – вдруг стукнул кулаком по столу Чистяков и заорал Маше прямо в лицо: – Тина где?

– На конференции, – испуганно ответила она.

– Черт бы побрал эти конференции!

– Да уже скоро кончится! – посмотрев на часы, успокаивающе сказала Марина.

Тут открылась дверь, и в ординаторскую вплыла именинница Татьяна.

– Да, роскошным женщинам прощается все, в том числе опоздания на работу! – громко сказал Валерий Павлович, а девушки кинулись к Тане с объятиями. Да и было что обнимать. Облегающее платье из блестящей парчи подчеркивало высокую, стройную, но отнюдь не худую фигуру, светлые волосы локонами струились по плечам, синие глаза ярко сияли, рот алел, нежные ручки с восхитительным маникюром еле удерживали огромный торт. Таня, освободившись от торта и бутылок с шампанским, прошла перед девочками по комнате, демонстрируя платье и всю себя и цокая высоченными каблуками.

– Голливудская звезда, да и только! – восхищенно сказала Маша.

– Двадцать пять, девочки, это не восемнадцать! И даже не двадцать! – пропела Татьяна. – Хватить думать о работе, пора уже думать о вечном!

Валерий Павлович удивленно воззрился на девушку поверх очков.

– Я имею в виду, пора выходить замуж! – чмокнула его в щеку Таня. – У вас нет на примете достойного жениха? Желательно из дипломатического корпуса?

– Нет, – растерянно покачал головой Валерий Павлович.

Девушки дружно прыснули. Татьяна даже повалилась на продавленный синий диван и в восторге задрогала стройными ногами. Валерий Павлович рассердился и покраснел. Он даже засопел от обиды, что его так глупо провели.

– Какая ты красивая! – сказала Мышка, с интересом разглядывая Татьяну. И Марина, которая во всем отделении не любила только Валентину Николаевну, да и то потому, что сама была давно равнодушна к Барашкову, тоже одобрила и платье, и торт, и шампанское. Сама Татьяна ее никогда не интересовала. «Много у нас было таких, – говорила опытная Марина. – Этой здесь делать нечего, надолго она не останется!»

Хотя таких красавиц, как Таня, в отделении никогда не было, в главном Марина была права. Если бы не одно запутанное дело, Татьяна уже давно унесла бы из больницы ноги: работа адская, платят не просто немного, мизерно мало! Не хватает тут гробить лучшие годы! Что она, Мышка, что ли, что не сможет себе лучше место найти? Но под «местом» Татьяна понимала не место работы, а место в жизни. С этим и была проблема. Таня хотела замуж.

– Это ты принимала вчера больного с улицы? – спросил Валерий Павлович.

– Алкаша, что ли? Ну я. – Таня занималась тортом. Он никак не хотел вылезать из коробки. Она боялась испачкать платье и заходила к торту то с одной стороны, то с другой. Марина взялась ей помогать.

– Ты его показывала кому-нибудь? Валентине Николаевне, например?
– Чего его показывать-то? Его есть надо! – Все мысли Татьяны были про торт.
– Я про больного!
– О господи! А что больной? Алкаш и алкаш. Грязный, вонючий. Еще, наверное, с блохами, а может, и со вшами. Еле заставила девчонок в приемном его помыть. Никто не хотел возиться.

– Кстати, плохо помыли. Он отвратительно грязный.

Татьяна презрительно фыркнула.

– Ну, так что ты ему назначила?

– Как обычно. Подключила систему по отработанной методике.

– А тебя не смущает, что он уже вторые сутки никак в себя не приходит?

– А я тут при чем? Я все сделала как надо. Да не волнуйтесь вы, с этими алкашами всегда так. Вроде смотришь – все уже, погибается. А через день уходит своими ногами. Между прочим, Барашков говорил, девчонка с отравлением кислотой тяжелее.

– Смотри, Татьяна, твой больной. Если что, тебе придется эпикриз писать, и на секцию тоже ты вместе с Тиной пойдешь. Ты с нашим патологоанатомом еще не знакома? Познакомишься, когда он тебя при всех размажет на конференции, как яичницу по сковородке!

– С чего это я? Во-первых, Валентина Николаевна больного передала Барашкову. Ну, не передала, попросила. А во-вторых, у меня сегодня день рождения.

Мышка подняла голову от истории болезни, которую заполняла, и сочувственно посмотрела на Татьяну.

– Мало ли что может быть, Таня! – тихо сказала она. – Ты все-таки вызови на всякий случай хирурга, невропатолога... Пусть они посмотрят этого больного. Нет ничего – ну, значит, будем еще ждать.

– Да ладно вам, прицепились! Вызову! – скривила ослепительные губки Татьяна. – Я и сама так думала. Обязательно надо праздник испортить! Ничего там нет особенного! Отравление алкоголем и есть отравление. Я же видела, какого его привезли: штаны мокрые, весь в грязи, упился до потери пульса и под забором где-то валялся! Вы что, никогда алкашей не видали? К нам только таких и везут! Если артистов или кого поприличней – так в приличные места и определяют, а шваль подзаборная – вся наша! Да его раздеть чего стоило! Вы что, не знаете, в приемном отделении санитаров нет! И мы с фельдшером с него эти вонючие завшивленные тряпки снимали! Меня чуть не вырвало! – Она сердито шлепнула торт на тарелку. Облизала пальцы, измазанные кремом. Подхватила упавший орешек. – Да если хотите знать, – в запале Таня почти закричала, – таких вообще не надо выхаживать! Я этих алкашей ненавижу! Сколько лекарств на них угрохаешь, сколько растворов – и все бесплатно. А они перед выпиской вместо «спасибо» обматерят тебя как следует, у сестер спирт для уколов весь выхлебают и опять пойдут нажираться как свиньи! И через два дня опять к нам! Здрассьте, приехали! Давно не видались! А вы все переживаете! Как он там, что он там? Да они живучие, эти алкаши, как собаки!

Валерий Павлович поднял голову и долгим взглядом посмотрел на Татьяну. Мышка совсем вжалась в свой стол.

– Я пережил мальчишкой войну, – сказал, снимая очки, Валерий Павлович. – Совсем маленьким. Но уже тогда я понимал и сердцем чувствовал, что рассуждения, подобные твоим, – это фашизм! И все наши ребята это понимали.

– Ну уж, скажете тоже! Фашизм! Пить надо меньше! – фыркнула Таня.

– Зачем тогда лечить больных шизофренией? Какая от них польза обществу? Или наркоманов? Или онкологических больных? Всех стрелять! Надоели они тебе – грязные, противные, вонючие? Эршиссен! – Голос Чистякова звучал все громче, лицо багровело, и

Валерий Павлович впал в такое состояние, при котором совершенно необходима была радикальная помощь Валентины Николаевны.

– Ты работаешь здесь всего третий год! – продолжал греметь Чистяков. – Сколько ты этих больных повидала? Уж, наверное, меньше, чем я, или Валентина Николаевна, или Аркадий! Однако же мы, дураки, терпим, лечим, стараемся чем-то помочь! И если не испытываем симпатий к ним как к личностям, то все же имеем профессиональный интерес как к пациентам! И тебя никто не просит любить алкашей! Не хочешь работать здесь – уходи, ищи тепленькое местечко. Но пока ты работаешь, разобраться, что происходит с твоим больным, ты обязана!

– Запомните навсегда, Валерий Павлович, дорогой! – Татьяна побелела от злости. – Я никогда никому и ничем не обязана! И особенно вам. И вы не смеете меня оскорблять. И словечко ваше «фашизм» приберегите для слабонервных! Для тех, кто не знает, что делается, например, в Чечне. А я, запомните, не из таких! Нечего меня тут учить, как надо относиться к больным!

И махом накинув на свое ослепительное платье красивый, импортный, не в больнице взятый халат, Таня вышла из комнаты.

– У нее же день рождения сегодня! – укоризненно протянула Мышка.

– Да черта с два нужен мне ее день рождения! – стукнул кулаком по столу Валерий Павлович. – Я и здороваться больше с ней не хочу!

– Да ладно вам, Валерий Павлович! – Мышка вдруг вытянула из лежавшей на столе у Ашота пачки тонкую сигаретку и неумело затянулась. – Вы с нами как в школе военрук на военной подготовке. Все она понимает, наша Таня, все знает. Но когда вместо романтики, что преподносили нам в институте, нам и вам приходится обмывать и раздевать здесь завшивленных больных, согласитесь, получается не совсем то, о чем могут мечтать нормальные люди.

Валерий Павлович как-то странно закашлялся и закричал.

– Только вы не говорите, – тоненьким голоском продолжала Мышка, – что люди на фронте и не то видели. Да, видели. И сейчас, наверное, видят. Но мы живем здесь, в Москве, и тоже видим самое разное. И Москва наша то в блеске, то в нищете, словно куртизанка. А Таня, она не плохая. Только она не хочет быть в нищете, а хочет – сразу в шоколаде. Как, кстати, многие другие, кто устроился в приличные места за большие деньги. Она же не виновата, что ее папа, профессор-биохимик, оказался слишком бедным и слишком принципиальным и попросил нашего главного врача взять дочку на работу и всему научить, чтобы в жизни у нее был всегда свой кусок хлеба. Это она сама мне рассказала. Просто есть люди, которые, как вы, как Валентина Николаевна, могут долго брести в глубоких сумерках, вытянув руки, и ждать, когда же впереди засияет свет. А другие темноты не любят и отчасти боятся. Им нужно много и лучше сразу, поэтому они любят свет люстр и ненавидят бродить в потемках.

Мышка умолкла, ужасно застенчившись своей длинной речью. Валерий Павлович насмешливо посмотрел на нее и спросил:

– Марья Филипповна, вы стихи случайно не пишете? А то дали бы почитать!

Мышка скромно ответила:

– Нет, не пишу, – и выглянула за дверь. – Я так и думала, Таня в палате! – обрадованно сказала она.

– Ну да, она у нас медицинское светило! Уж если зашла в палату, так все сразу всем будет ясно и все сразу будут здоровы! – ворчливо отозвался Валерий Павлович, надевая очки. Зазвонил внутренний телефон. Чистяков неохотно снял трубку.

– Ну вот, – сказал он. – Хватит болтать – к нам повесившийся. Звонили из приемного, я пойду его смотреть, а ты свяжись с ЛОР-отделением, чтобы отоларинголог тоже спустился – нет ли переломов хрящей гортани. Кстати, переводной эпикриз написала?

Мышка протянула ему историю болезни, но он не взял.

– Если написала, то хорошо. Я не буду читать, некогда. Звони тогда в кардиологию, пусть быстрее забирают больного с инфарктом. На его место положим повешенного, чтобы третью палату не открывать, а то там полы мыть некому.

Мышка встала, Валерий Павлович пошел к двери.

– Да, не забудь, – повернулся он у самого выхода, – свяжись все-таки с хирургией, узнай, когда они придут делать перевязку кавказцу. За полчаса до перевязки введешь ему промедол. И нейролептик. И вообще, он какой-то нервный. – Чистяков секунду подумал. – Ты лучше дай ему внутривенный наркоз на десять минут на время перевязки, чтобы спокойно лежал, дал осмотреть раны.

Мышка пометила что-то себе в блокнотик. Валерий Павлович продолжал.

– Если следователь придет без меня, расскажи ему про синяки на запястьях у девочки, опиши их в истории болезни. Еще передай ему привет от меня и скажи, что, по моему мнению, ему есть тут над чем поработать. Пусть дождется, пока я приду. Все поняла?

У Мышки, которая дежурила с Барашковым всю предыдущую ночь, в голове клубился легкий туман. Но ее цепкая память все равно не упустила ни слова из приказаний Валерия Павловича. Доктор аккуратно записала все указания в блокнотик, чтобы что-нибудь не забыть. Она вообще любила порядок во всем.

5

Врачебная конференция подходила к концу. Монотонно заканчивали жужжать выступающие. Главный врач, сверкая очками, руководил народом. Доктор Азарцев, отгородившись от всех газетой, потихоньку дремал. Он не хотел ничего слушать. Мало ли за свою жизнь он насиделся на таких же или почти таких конференциях? Но помимо его воли речи выступающих не проскакивали мимо, а воспринимались целиком. Проблемы были одни и те же. Все казалось таким знакомым, таким одинаковым, как будто он сам проработал в этой больнице не менее пятнадцати лет. Был он сейчас здесь, однако, в первый раз.

Потихоньку Азарцев стал наблюдать за присутствующими. Конечно, всех он не видел. Лицом к нему, за покрытым сукном столом, сидел только главный врач да несколько приближенных к нему лиц. Остальная масса людей оказалась к нему спинами, и он мог видеть только затылки. Но и сзади наблюдать было интересно. Терапевтов можно было узнать по тому, что они сидели в открытых халатах, без шапочек, женщины с прическами, мужчины почти поголовно в очках. Хирурги и травматологи уселись стройными рядами, состоявшими практически из одних мужиков, все в специальных зеленых пижамах. Причем несмотря на то, что во всей больнице было прохладно, а в конференц-зале – по-настоящему холодно, хирурги храбро выставляли напоказ волосатые мощные руки и груди. Лысые доктора надвигали шапочки поближе на лоб, но иногда (это Владимир подмечал и раньше) снимали их, когда никто не видел, и быстро протирали лысины салфетками. Те, кто сохранил шевелюры, шапочки игнорировали. Если бы Володя мог заглянуть под кресла, то мало у кого из мужчин увидел бы туфли на ногах – большинство щеголяло в мягких растоптанных шлепанцах.

Доктора-офтальмологи были маленькие, чистенькие, аккуратненькие. Преимущественно женщины в красивых импортных халатиках и кружевных блузках.

Гинекологи-женщины были шумные, худощавые, энергичные. У них была своеобразная мода носить массивные золотые украшения. Их пальцы были унизаны перстнями, а когда гинекологи наклонялись, Владимир видел, как раскачивались в ушах крупные серьги с камнями. Некоторые гинекологи-мужчины отличались пикантной томностью, в их ряды даже затесался молодой человек с заливчатскими бачками и прической «хвостом», что для докторов какой-нибудь третьей гнойной хирургии было просто немыслимо.

А лор-врачи, и взрослые и детские, которых в больницах часто ласково называют «лориками», настолько срослись со своими головными рефлекторами, что не снимали их ни в какое время суток – и так и сидели на конференции, гордо завернув круглые зеркала высоко надо лбами.

В целом общество было довольно забавным, веселым и шумливым. Кроме главного врача только один господин счел необходимым явиться на конференцию в костюме и галстуке. Это был человек очень маленького роста, сидя – не больше ребенка, с кривым и горбатым носом, пестрыми, зелеными в крапинку, умными, насмешливыми глазами и какой-то сатанинской улыбкой.

Володя не мог не обратить внимания на этого человека, так как тот сидел недалеко, в одном с ним ряду, и все время пытался острить. Он хватал за руку свою соседку, наклонялся к ней, заглядывал в глаза и противно хихикал, а она либо молчала, либо отвечала «да» или «нет». Эта женщина тоже привлекла внимание Володи: он узнал в ней «шалаву» – незнакомку, покупавшую в магазине кофе и сыр. Но теперь перед ним была никак не «шалава». Светлые волосы были аккуратно причесаны, лицо спокойно, сосредоточенно, маленькие крепкие руки без признаков маникюра с коротко остриженными ногтями двигались уверенно и не суетливо.

«Интересно, кто она по специальности? – подумал Азарцев. – Руки не изнеженные, сильные. Неужели из наших?» Под «нашими» он подразумевал врачей, специальности которых требуют практических навыков, а не только философских рассуждений, как в терапии. Он нисколько не умалял значения терапевтов, даже наоборот, преклонялся перед знаниями некоторых из них, но люди практических специальностей по характеру были ему ближе. Ни для кого из врачей не секрет, что медицинская специальность – это характер. И наоборот, каков характер – такова и специальность. Перед ним были руки-труженицы, с шелушащейся от частого мытья кожей, с крепкими подвижными пальцами, не боящимися никакого врачебного труда. Такие руки могли быть и у врача-эндоскописта, и у гинеколога, и у окулиста, и у отоларинголога, да мало ли еще у кого. Против того, что дама принадлежала к хирургам, свидетельствовала одежда. Юбка, кофта – все как обычно, никаких пижамных штанов. К тому же на руках не было следов йода.

– Давно уже я не видел вас в моем царстве мертвых, – разливался мелким бесом перед дамой самовлюбленный галстучный тип.

«Ах, вот он кто! – догадался Азарцев. – Он – патологоанатом». Кто еще, кроме патологоанатомов, может иметь такое одухотворенное и вместе с тем отвратительное выражение лица? Простак и добряк в патанатомии работать не идут. Эта специальность для избранных, самой природой предназначенных сопоставлять, исследовать и, черт возьми, ехидничать и обвинять, забывая порой, что исследования в покойном, в прямом смысле, уединении с патологоанатомическим атласом и микроскопом весьма отличаются от горячки мыслей при виде погибающего, но еще пока живого больного.

– Слава богу, последние две недели бог миловал от визитов к вам, дорогой наш Харон, – отвечала дама, разглаживая на коленях халат. – Хотя, сами знаете, зарекаться в нашей профессии не приходится.

Она назвала его Хароном, а сама засомневалась, к месту ли. Патологоанатом был человеком образованным, с ним надо было держать ухо востро. Ох, и обсмеял бы он ее, если она ошиблась! Не постеснялся бы, при всех выставил бы невеждой при первом же удобном случае.

«Чтоб ты заткнулся! – подумала Валентина Николаевна. Не разглядев соседа, впопыхах плюхнулась на сиденье рядом. А он приземлился здесь, а не в первых рядах, где сидел обычно, потому что тоже опоздал на конференцию. – Что ты прицепился ко мне как банный лист! У меня, да у нас у всех в отделении такая работа, что каждый день с любым больным можем к тебе загреметь. Тебя бы в нашу мясорубку! Однако, несмотря ни на что, выхаживаем же...»

Толмачёва была недовольна собой, раздражена. Никогда нельзя ничего говорить не подумав! Зачем вот она с утра полезла к Барашкову? В результате получила порцию унижения. Теперь вот вылезла с Хароном. Придет домой, надо будет посмотреть в энциклопедии мифов, так ли звали перевозчика через Стикс, доставлявших умерших в царство мертвых. А тут еще эта противная тетка, мать Ники, пристала со своими деньгами! Кроме того, Тина нервничала, что приходится сидеть так долго на конференции, а она не успела с утра пройти по палатам и посмотреть больных. К тому же она сильно замерзла в нетопленном зале и была голодна, ведь ей так и не удалось выпить кофе. Не много ли, в конце концов, сложностей в жизни для одного человека? Ей даже стало жалко себя, что случалось редко.

«Вернусь в отделение, надену поверх этой кофты еще одну, съем кусок сыра без хлеба, хлеб-то забыла, и выпью кофе. Вот для меня задача номер один, а то я упаду. А потом только пойду на обход. Пять минут все подождут, не помрут», – решила Валентина Николаевна.

Главный врач наконец закрутился. Кое-где уже начали вставать с мест, чтобы бежать по своим делам. По залу разнесся разноголосый гул. Сосед Тины слева с шумом сложил газету.

«Уже и газеты кто-то на конференции читает...» – недоуменно подумала она и вгляделась пристальнее, кто бы это мог быть. Если знакомый, можно и пошутить, сказать, что в последнее время конференции стали такими нудными, что лучше уж читать глупые газеты. И вдруг опять увидела на обложке знакомые уже лица обнаженных девиц. От удивления она приоткрыла рот. Азарцев, заметив, что на него обратили внимание, вежливо поклонился и улыбнулся. И Тина, та самая Валентина Николаевна, которая втайне всегда считала, что любовь с первого взгляда – выдумки, взглянула в глаза подозрительного незнакомца – и совершенно неожиданно для себя со страшной силой грохнулась в любовь, со всей высоты. С высоты своего возраста, жизненного опыта, неудавшегося брака. Затюканная жизнью, замученная работой, выглядевшая не то чтобы плохо, но как-то не очень, всегда с неважным настроением, привыкшая держать себя в руках и анализировать свои мысли, Валентина Николаевна, ни о чем не задумываясь, ничего не прося, не боясь разбиться, интуитивно и неосознанно грохнулась в любовь так, что вокруг зазвенели, запели и заиграли на свету хрустальные осколки всей ее прежней жизни.

Может быть, так сошлись звезды на небе, а может, просто у нее наступил физиологический период гормонального всплеска – это дело богов и физиологов. Валентина же Николаевна забыла про все на свете, и физиологию и анатомию, вместе взятые, и не могла оторваться от серых спокойных глаз незнакомца. Удивительно: в магазине она ему в глаза не глядела, поэтому лица его не запомнила, а здесь узнала только по куртке и по газете. Не возьми он с собой газету, возможно, любовь обошла бы Тину стороной. Но газета оказалась на сцене и была уже прочитана с первой страницы до последней.

Потрясение Валентины Николаевны было так сильно, что она даже не почувствовала, как заведующий патологоанатомическим отделением, а по совместительству судебно-медицинский эксперт Михаил Борисович Ризкин – которого вся больница звала просто Мишка и Старый Черт, хотя годами Михаил Борисович был вовсе не стар, – настойчиво обнимает ее за талию. Она машинально смахнула его руку, как прогнала бы прочь надоевшее насекомое, и, вдруг опомнившись и покраснев до корней волос, оторвала наконец взгляд от глаз незнакомца и, быстро оттолкнув Мишку, направилась к выходу.

– Нехорошо отодвигать в сторону старых друзей! – визгливо прокричал ей Старый Черт, но его голоса она не услышала. До ее сознания долетел только голос главного врача.

– Задержитесь на минутку, Валентина Николаевна! – Главный торопился сквозь толпу к выходу.

Тина остановилась у дверей и еле перевела дух.

Разноголосая толпа в белых халатах катилась мимо нее по коридору. До Валентины Николаевны доносились обрывки разговоров: и знакомые медицинские термины, и разговоры о мужьях, о детях, о покупках, о мерзкой погоде и о том, что в этом году совершенно не было «бабьего лета». Наконец главный врач смог протиснуть свое грузное тело через узкую входную дверь, как всегда открытую только на одну створку, и взять Тину под руку.

– Вы мне нужны, Валентина Николаевна, – сказал он. – Я хочу вас познакомить со своим институтским товарищем. – Он поискал кого-то глазами в толпе. – У него к вам дело как к анестезиологу и реаниматологу. Вот, рекомендую!

Тина отступила на два шага назад. Сердце ее забилося. Чутьем она поняла, кого сейчас подведет к ней главный врач. Толпа из дверей схлынула; неспешной легкой походкой, присущей людям астенического телосложения, к ним, улыбаясь, подходил магазинный любитель обнаженной натуры.

«Черт! – подумала Валентина Николаевна. – Сейчас надо будет руку пожимать, а у меня даже ногти не покрашены!»

– Владимир Сергеевич Азарцев, прекрасный хирург! – сказал Валентине Николаевне главный врач. – А это... – Он повернулся к товарищу.

– Я наконец вас узнал! – радостно улыбаясь, сказал Тине Азарцев. – Увидел вас в магазине и понял, что уже видел где-то раньше, просто не смог сразу вспомнить. Вы – «Аве, Мария»! Ведь правильно?

– Да... – растерянно сказала Тина. Этого она никак не ожидала. – Но, извините, я вас... Мне кажется, мы не были знакомы...

Главный врач тоже удивился. Он с некоторым недоумением смотрел то на одного, то на другого.

– Вот, оказывается, какие ты здесь собрал кадры! – все так же радостно сказал ему Владимир Сергеевич. – Да весь институт в те годы знал твою дорогую заведующую реанимацией. «Аве, Мария»! Ее тогда все в институте так звали!

– Но я не знал... – растерянно пожал плечами главный врач.

– А должен звезд узнавать в лицо! – рассмеялся Азарцев. – Ты потому только не знал, что мы с тобой в другом институте учились и года на три раньше закончили. А я к ним попал как-то раз на институтский вечер по приглашению. Меня знакомая девушка пригласила. В начале вечера, как водится, была торжественная часть и концерт. И вот, представляешь, открывается занавес, в три ряда стоит институтский хор, весь черно-белый. Вдруг из боковой кулисы выходит девушка в серебристом платье и объявляет: «Шуберт. „Аве, Мария“. А капелла».

И хор начинает тихонечко гудеть, создавая фон. А девушка становится впереди, складывает руки у пояса, тихонько набирает полную грудь воздуха и начинает: «А-а-а-ве-е-е», – тут ее голос крепнет, перекрывая хор тысячу раз. Потом стихает – и «Мария» выходит с переливом так нежно, что зал замирает! Я помню этот концерт как сейчас. Я еще спросил потом у своей подружки, кто это так чудесно поет. А она мне сказала: «Да это же Тинка Толмачёва, со второго курса лечебного факультета. Ее каким-то образом вычислили – что она музыкальное училище окончила по классу вокала, и теперь всегда первым номером на концерты ставят, пока начальство в зале сидит. Чтобы показать, какой в институте замечательный хор». А я еще спросил тогда: «Так зачем она с таким удивительным голосом в медицинский институт поступила? Ей надо было в консерваторию идти». А та девчонка даже заревновала и говорит: «Отстань от меня, откуда я знаю! Тинка – ужасная воображала. Она и в комсомоле, она и в студенческом самоуправлении. Ее теперь все так и зовут „Аве, Мария“!»

– Вот так-то, дорогой товарищ, – повернулся Азарцев к главному врачу, – какие вы, оказывается, кадры от общественности прячете! И если бы не ваш скромный друг, никогда бы вы об этом не узнали!

Главный врач крикнул и приобнял Валентину Николаевну.

– А что стало потом с вашей подругой? – спросила она.

– Я потом на ней женился, – спокойно ответил Азарцев.

– А-а-а, – протянула Тина. – Понятно.

– Валентина Николаевна у меня такой ценный товарищ, – сказал главный врач, – что даже если бы у нее вообще никакого голоса не было, она все равно была бы в нашем коллективе незаменима.

Тина замолчала. Она стояла, смотрела на главного врача, на Азарцева и никак не могла избавиться от комка в горле. Ее глаза были раскрыты, но она уже никого не видела. Тина снова стояла в серебряном платье на краю пыльной институтской сцены впереди студенческого хора и не пела, а источала звуки всем существом. И это не голосовые складки, не легкие, не диафрагма продуцировали звук. Это страдала ее душа, оплакивая свой приговор.

«Голос природный имеется, но он совершенно не обработан. Девушка бесперспективна».

Два года она поступала в консерваторию. В памяти всплыли сухие лица, равнодушные голоса. «Вам обязательно нужно заниматься с педагогом. Брать частные уроки». Уроки и

Лена. Хрупкое тело на одной из двух одинаковых постелей в их девичьей комнатке. Постоянные сиделки, лекарства, массаж. Нет. Она не будет брать частные уроки. Она будет поступать в медицинский. Она помнит благодарные мамыны глаза после того, как она объявила о своем решении. К черту консерваторию! Она ведь может петь и в медицинском. Будет врачом – и будет петь. На концертах, впереди хора. «Шуберт. „Аве, Мария“. А капелла». Переливы голоса вверх – вниз. Вверх – прыжок в небеса, вниз – с моста в темную воду. И слезы. По щекам – никогда. Только вовнутрь. Через слезоносовой канал. А лучше – без слез. Они нарушают дыхание, портится голос.

– Вы с Владимиром Сергеевичем можете поговорить у меня в кабинете. – Главный врач был очень любезен.

– Прошу прощения! – очнулась Тина, так же неожиданно спустившись с небес на землю, как туда поднялась. – Сейчас я должна в первую очередь осмотреть больных.

Главный врач удивился. Он приглашает к себе, а она собирается идти смотреть больных! Но Азарцев сказал: «Конечно, конечно!» – и он, поразмыслив, с ним согласился. В конце концов, ему скоро нужно было ехать по его начальственным делам, и тогда не получится поговорить со старым другом.

– Хорошо. Владимир Сергеевич пока побудет у меня! – сказал он. – Скажите, во сколько ему к вам подойти?

– Я думаю, через час, – извиняясь улыбнулась Валентина Николаевна.

– Я не прощаюсь! – Владимир Сергеевич осторожно подержался за Тинино запястье, и от этого прикосновения душа у Валентины опрокинулась. Заведующая реанимацией повернулась и быстро ушла.

– Хм, кто бы мог подумать? Толмачёва – и вдруг певица! – пожал плечами главный.

– А что? Что-то не так? – удивился Азарцев.

– Да она рта-то лишний раз не откроет! Слова из нее не вытянешь. Никакой болтовни. Сугубо деловая женщина. – Главный врач сказал это с той долей равнодушного уважения, на которую только и способны начальники, говорящие о своих подчиненных.

6

Марина собиралась после дежурства пойти домой и всласть выспаться, но из отделения не ушла. Дома ее никто не ждал. Маленький сын был в садике, его бабушка, Маринина мать, – на работе. С одной стороны, было бы прекрасно провести часа четыре в постели под одеялом, но с другой – в отделении собирались отмечать день рождения Татьяны. Это означало, что под шумок Марина сядет рядом с Барашковым, сможет подкладывать ему на тарелку самые вкусные куски, ощущать тепло его тела – на диване все сидели вплотную друг к другу – и громко смеяться его шуткам. И когда будут разливать шампанское, она чокнется с ним первой. Конечно, было немного обидно, что утром он в раздражении ни за что ни про что обозвал их с Мышкой «старыми дурами», но она была уверена, что он сделал это от бессилия и усталости, не со зла. Да она никогда долго на него не сердилась.

Как Марина жалела, что не доктор и не может сидеть в ординаторской рядом с ним на законных основаниях! Что не может ходить с ним по коридорам, как Тина, брать его под руку на правах коллеги. «Какой он замечательный, – думала Марина, – добрый, веселый!» Однажды у ее сына Толика стал нарывать палец, и она привела его в отделение. Так Аркадий Петрович не стал сам смотреть – не поленился, отвел Толика к заведующему третьей хирургией. «Такому парню, – сказал он, – нужна лучшая консультация!» Хотя Марина была уверена: посмотри он Толика сам, результат был бы точно таким же. Рука у Толика тогда зажила быстро, и Толик идти с Аркадием Петровичем ни-сколько не испугался. Да и Марина его не боялась. Не боялась и не стеснялась. Не то что Валерия Павловича. Тому перечить ни в чем было нельзя. Как начнет гудеть! И как разойдется, обязательно сделает из мухи слона и замучает воспоминаниями из своего военного детства. Как будто сейчас у нее, Марины, жизнь легче легкого. Хоть бы подумал, прежде чем придирается ко всяким пустякам, – живет она с матерью, без мужа, с ребенком, на зарплату медсестры не больно-то пошikuешь. Спасибо хоть мать есть, не оставляет. А докторов бояться нельзя, иначе больных очень трудно лечить. И еще Марине нравилось, что Аркадий Петрович никогда не притворяется. Всегда такой, какой есть. Сестры это очень хорошо понимают.

Марина сидела, навалившись на стол, положив голову на руки, и предавалась сладким мечтам о том, что когда-нибудь доктор Барашков заметит, как она его любит, пошлет на фиг эту противную Валентину Николаевну и пригласит ее, Марину, куда-нибудь погулять. Или в ресторан, или в картинную галерею. Куда угодно. То, что у Аркадия Петровича была жена, Марину, так же, как и Валентину Николаевну, нисколько не волновало. Только по другой причине. Если Валентина Николаевна твердо знала, что ничего, кроме служебного романа, у нее с Барашковым получиться не может, то Марина думала, что «жена Аркадия Петровича не стена, можно ее и обойти». И потом, Марине казалось, что жена совершенно не важная фигура, если Аркадий Петрович три четверти жизни проводит на работе и только одну четверть – дома, да и то большей частью во сне.

Резкий телефонный звонок отвлек Марину от грез. Звонила процедурная сестра из отделения гинекологии. Марина ее хорошо знала. Они даже дружили. Как-то та устраивала Марину на аборт.

– Мариночка, как хорошо, что ты еще не ушла! Выручи меня, солнышко!

– А что случилось?

– Женщину привезли с разрывом трубы, с внематочной беременностью. Срочно нужна кровь для переливания! А я замоталась накануне, в отделении была генеральная уборка, проглядела, не пополнила запасы! – быстро тараторила в трубку подруга. – Посмотри у себя, не найдется две лишних банки?

– Какую тебе нужно группу? – Маринины щеки свело судорогой от сдерживаемого зевка.

– Третью группу, солнышко, третью! А завтра привезут кровь со станции переливания, я тебе отдам! – обрадовалась, встретив понимание, подружка.

Марина прикинула. У кавказца – четвертая группа. Это она знала точно. Сама звонила на станцию переливания, заказывала для него кровь. Кровь привезли. У Ники – первая, тоже имелась в достаточном количестве. Второй и третьей группы было граммов по восемьсот, то есть как раз по две банки, но они сейчас никому не были нужны. Пожалуй, она могла бы выручить подружку. Им самим сегодня кровь, наверное, не понадобится, подружке будет приятно, а завтра она закажет свежую. Да и подружка отдаст.

– Приходи! Пару банок дам!

– Коробка конфет с меня! – радостно взвизгнула трубка и дала отбой. Марина встала и лениво одернула на бедрах халат.

Она сидела в комнатке медсестер. Всей обстановки там был старый шкаф для переодевания, маленький столик для еды да кушетка, где можно было на полчаса прикорнуть. Сейчас в комнате, кроме Марины, не было никого. Две сестры, пришедшие на день, находились в палатах. Одна из них потом останется работать и в ночь, а другая уйдет. На завтра они поменяются, а через день – опять дежурство Марины. Ладно, еще день впереди, успеет выспаться.

У двери были раковина и зеркало. Марина подошла к нему, потянулась, расправила грудь и плечи. Сняла шапочку, расчесала волосы. Критически оглядела себя. Да, живи она где-нибудь на Украине, от женихов отбоя бы не было. Даже странно, откуда в коренной москвичке такая выраженная малороссийская внешность. Мама, отец – худощавые, ничем не примечательные, русоволосые, невысокие люди, а Марина – типичная гоголевская панночка. Щеки как клубникой намазаны, глаза будто вишни, черные брови вразлет. Высокая, крепкая, статная. Черноволосая высокая красавица, кровь с молоком. Как бы она смотрелась рядом с Аркадием! Он высокий, белокожий и рыжий. Вернее, не рыжий, а золотой. А она рядом – будто слива мирабель, усыпанная плодами. Ах, как хотелось бы ей родить ему сына! У него, ведь она знала, единственная дочь, а мужики просто помешаны на потомстве. Если бы ей удалось забеременеть от него, да еще мальчиком, как могла бы перемениться ее жизнь! И жизнь Толика, ее сына. А что в таком случае ожидает дочь и жену Барашкова, Марина не думала. Как-нибудь все должно устроиться. Она ведь не будет возражать, чтобы он к ним иногда приходил. Она, Марина, не жадная и не злая. Просто ей очень хочется, чтобы Барашков был навсегда ее, и только ее.

Но у Барашкова – роман. Уже года четыре. Все в отделении знали. Разве это скроешь? И что он нашел в этой противной Тине? И зовут-то ее так не зря. Тоже придумали, Тина. Болото какое-то. Вот всех и засасывает. Однажды под Новый год, когда они всем коллективом решили распить бутылку шампанского, Марина набралась храбрости и, подавив блеск в глазах, чтобы Тина не увидела, как она ее ненавидит, спросила, откуда пошло такое странное уменьшительное имя. Толмачёва ответила: «Папа придумал. „Валя“ ему очень не нравилось. Зовут же Елизавет – Ветами, а Светлан – Ланами. Пусть Валентина будет Тиной», – решил он. А вообще-то Валентиной назвала ее мама, в честь своего отца. Вот такую историю рассказала тогда Валентина Николаевна. Марина поверила, но про себя решила, что имя – единственно оригинальное, что есть у ее начальницы. А так – самая обычная женщина. Ни больше ни меньше. В меру симпатичная, в меру умная, наверное. В уме Валентины Николаевны Марина не очень разбиралась. Правда, и Ашот, и Валерий Павлович Тину очень уважали. А Мышка, так та вечно прямо в рот заглядывала. А то, что Тина оригинальничать никогда не стремилась, Марина чувствовала, ей это нравилось. Но заведующую все равно не любила. Из-за Барашкова. Ей было за него обидно.

Тоже нашли кого назначить начальницей. Барашков и Тина в один год на работу пришли, и Тина ничем не лучше Аркадия Петровича. Потом прежний заведующий ушел на пенсию. Сначала хотели сделать зав-отделением Валерия Павловича, да тот, говорили, отказался. Сказал, что ему тоже на пенсию пора. Кстати, пора не пора, а вот все работает, не уходит. И тогда заведующей сделали Толмачёву. Потому что она никогда не напивается и всегда молчит. Ей главное, чтобы все было тихо. А Барашков может, конечно, напиться. Пару раз бывало. Кто-то, наверное, и стукнул главному врачу. Да тот же Валерий Павлович мог бы сказать. С ним ведь советовались, когда Валентину Николаевну назначали. Кроме того, Барашков все время тормозил бы главного врача, скандалил и требовал, чтобы отделению что-нибудь прикупили. Какой-нибудь приборчик новый или что из мебели. Вон в других отделениях, в той же гинекологии, в холле кожаные кресла стоят, телевизор. У сестер красивые стеклянные будочки на постах. В хирургии, правда, что в первой, что во второй, что в третьей, тоже ни черта нет. Дранный линолеум на полах, по десять человек в палатах. И в урологии тоже ужас. Так воняет, что дышать невозможно. А заведующие там везде мужчины. Нет уж, видно, комфорт в отделении не от пола заведующего зависит, а от его пробивной силы. В гинекологии платные услуги предусмотрены – вот и кресла красивые в холле, вот и медсестры все в нутриевых да в енотовых шубках. А какие могут быть платные услуги в реанимации?

Краем уха Марина слышала, что Барашков и Тина вечно по этому поводу спорили. Да только как она дверь в ординаторскую открывала, все сразу рот на замок. Эх, дура она, дура! Не замуж нужно было после школы сразу идти, а в медицинский поступать. Так нет, бес попутал, как залетела, так сразу и свадьбу сыграли. А муж как ушел после ПТУ в армию, так и не вернулся. Заявление о разводе по почте прислал. Остался там, где служил, на Дальнем Востоке. Говорят, зарабатывает неплохо, подался на рыбный промысел. Только им с Толиком от этого промысла немного перепадает. И деньги он ей не напрямую пересылает, а через свою мать передает. А Толика он даже ни разу и не видел. Свекровь говорит, он думает, что она, Марина, с помощью этой беременности его насильно на себе женила. Конечно, а что ей тогда было делать? А теперь он себя жертвой считает. А ну как она ребенка ему на воспитание передаст? Такое суд теперь тоже делает. Полгода ребенок живет у матери, полгода у отца. Да только никогда она со своим сыночком не расстанется, хоть совсем провались там, на Дальнем Востоке, ее бывший муж. И не нужен он ей. Для души у нее есть Аркадий Петрович, а для тела ей редко когда чего хочется, так устает, что только бы до места добраться. Вот если бы Барашков женился на ней, тут она все бы ему отдала, ничего бы не пожалела! И сына бы еще одного родила. Запросто!

За размышлениями Марина не заметила, как прошло полчаса. Вот и Валентина Николаевна вернулась – цокает каблуками по коридору. Не поспоришь – ножка у нее маленькая, а когда она надевает туфли на каблуках, так вообще, как у Дюймовочки, загляденье! И коленки у Тины гладкие, круглые. Это Марина тоже заметила. Тина – дурочка, юбки длинные носит и вообще за собой плохо следит. Ни одного модного платья на ней Марина ни разу не видела. У них в отделении сестры и то лучше одеты. Говорят еще, что у Тины муж богатенький. Что-то не заметно. Жены богатых совсем не так выглядят, независимо. А у Тины лицо всегда серьезное, озабоченное, будто у нее целый ворох проблем и она их постоянно решает.

Марина осторожно выглянула за дверь. Заведующая отделением шла быстро и уже миновала вход в сестринскую комнату. Марина поглядела ей вслед и заморгала: походка у Валентины Николаевны была не такой, как всегда. Что-то в ней изменилось. Марина приоткрыла дверь и поняла: походка Тины вдруг стала летящей.

Валентина Николаевна влетела в свой кабинет и захлопнула за собой дверь. Она была бледна, глаза горели, веснушки на носу выступили ярче. Как всегда в минуты волнения, она

прислонилась затылком к двери и ощутила бешеное биение пульса на шее. Кровь стучала и выше, в висках.

«Надо успокоиться, – сказала она себе. – Быстро успокоиться и заниматься делами. Дел вагон, не время для воспоминаний».

Но та самая сила, которая заставляла с бешеной силой колотиться ее сердце, не давала покоя, и одна и та же мысль стучала молоточками в голове:

«Он меня помнит! Он помнит: я пела! Значит, я пела не зря. Он помнит мой голос. Он сказал, что я пела, как Белла Руденко! Конечно, это он уж загнул, но все это было правдой. И это я, Тина Толмачёва, пела так, что у всего зала перехватывало дыхание. Он замирал! Наш шумливый студенческий зал, я хорошо его помню! Я была тогда счастлива. Правда, была! Не было в жизни минут счастливее, чем когда я пела. Разве только еще один раз – когда я впервые увидела новорожденного сына и поняла, что он будет жить, что он родился здоровым и моя миссия выполнена. А потом, потом... Боже! Говорят, некоторые птицы в клетках теряют голос. Они не поют. Так и я. Почему я струсилась? Почему я всегда трусила? Боялась бороться за жизнь. Я должна была пойти не в мединститут. Теперь я понимаю, что надо было пойти на завод, на ткацкую фабрику, куда угодно, где была приличная зарплата, и брать педагога, оплачивать уроки и все-таки поступить в консерваторию. А уж если этого не случилось, то даже потом еще можно было бы изменить жизнь. Не оставаться рядом с мужем, который вечно тянул назад, не захлебываться в хозяйстве, не отдавать маленького Лешку свекрови, не мотаться на самолетах на выходные в этот проклятый Краснодарский край, а учиться дальше и петь. Петь так, чтобы замер весь мир, а не только студенческий зал. Но я оказалась слаба. Нас учили, что бытие определяет сознание, это правда. Я не могу больше петь. Но и винить некого. Надо смириться, что я сама это сделала. И Леночка ни при чем. Просто кто-то может переступить через трудности и потом посмеяться над ними. Я оказалась не из таких, я плыла по течению. Но...» – Валентина Николаевна подошла к столу, вытерла руками слезы, намочившие щеки, отрезала большой кусок сыра и стала его быстро есть. Когда она волновалась, она всегда ела. Еда ее успокаивала. И теперь она глотала сыр, но успокоиться не могла. Куски стояли в горле комками, мешались со слезами. Она шмыгала носом, лицо покраснело, покрылось пятнами, дыхание стало неровным. Тина сдавалась и перестала вытирать слезы. Они капали прямо на стол, на пакет с сыром, на отработанные истории болезни, стопкой лежавшие перед ней, а она стояла в каком-то ступоре, уже не думая ни о чем, не вспоминая. Тина только плакала и механически проглатывала неровно отломанные большие куски. Она замерзла, проголодалась, и ей ужасно было жалко себя.

«Господи! – наконец опомнилась она, когда сыр был почти весь съеден. – Что это со мной было? Слезы, сопли, истерика! Неужели вступаю в климактерический период? Еще, кажется, рано. Поставлю чайник. Все утро собираюсь глотнуть кофе».

Она достала из ящика стола рулон широкого нестерильного бинта, оторвала приличный кусок, вытерла им мокрое лицо и руки. Открыла банку купленного утром кофе. Понюхала. Запах был приятным. «Боже, какое счастье, хоть кофе есть!»

Тина с удовольствием насыпала полную ложку в фаянсовую кружку с таким же блюдечком и изготовилась плеснуть кипятку.

– Валентина Николаевна! Срочно! – раздался в коридоре крик Валерия Павловича, шарканье чьих-то ног, стук каблуков. Кто-то со всех ног бежал к ее кабинету. Она выскочила наружу. Навстречу ей, задыхаясь, неслась на высоких каблуках парадных туфель Татьяна.

– Что? – крикнула ей издали Тина.

– Алкаш помирает! – И Таня бросилась в палату назад.

Тина побежала следом за ней. По дороге она взглянула в сторону женской палаты. Там над Никой низко склонилась Мышка. В следующее мгновение Валентина Николаевна уже была в палате у мужчин и сразу увидела остекленевшие от ужаса глаза кавказца. Его

забыли отделить ширмой, и он мог наблюдать происходящее со своего места. Поскольку он мог лежать только на спине, голова его была неестественно вывернута, рот приоткрыт. Он даже забыл стонать и материться и лежал молча, не моргая и вытянув руки по швам. Больного с инфарктом уже увезли в кардиологию. Валерий Павлович и Татьяна склонились над кроватью. Больной по-прежнему находился без сознания, но теперь повернут набок, худое и грязное серое тело обнажено по пояс, голова опущена, а изо рта вытекала густая черная жидкость. Валерий Павлович удерживал больного в таком положении, Татьяна стояла с другой стороны бледная как мел и быстро прилаживала электроотсос.

– Это кровь, – сказала Валентина Николаевна, соображая, откуда она взялась и что делать дальше.

– Сам вижу, что кровь, – отозвался Чистяков. – Откуда только? Вот поэтому и давление было нестабильно. Мы лили жидкость, а где-то было внутреннее кровотечение. Кровь вытекала, давление падало.

– Включай отсос, а то захлебнется, – сказала Тина Татьяне. Потом повернулась к Валерию Павловичу: – Видимо, кровь из желудка или из сплетения пищевода. Как вы обнаружили?

– Татьяна, к счастью, была в палате. Увидела кровь в ротовой полости. Еще бы момент – асфиксия, и все. Видимо, желудок уже наполнился кровью до предела. Видите, кровь черная, свернувшаяся. Значит, кровотечение было длительным. Крови набралось много, и она пошла, наверное, и вниз в кишечник, и вверх по пищеводу. А поскольку он был все время без сознания, то, сами понимаете, не мог сказать, что он чувствует... Да он и не чувствовал, наверное, ничего.

– Но живот при поступлении, как в истории болезни отмечено, был мягким. – Тина наклонилась и внимательно рассматривала черную лужу на полу, пытаясь определить на глаз объем кровопотери.

– Кровоподтеков на теле не было. – Тина смотрела историю болезни. – Если бы его попинали на улице, пока он там лежал, и случился разрыв печени или селезенки, были бы кровоподтеки. Хоть где-нибудь. Обычно они проявляются через сутки. Если на животе не видно, так с боков. И ребра были бы сломаны. Переломов не видели?

– Да я сто раз уже смотрел! Не было!

Старый отсос работал с шумом реактивного двигателя, и Валерий Павлович буквально кричал, чтобы Тина его слышала.

– Ладно! – решила Валентина Николаевна. – Пишите в истории болезни «прободная язва желудка под вопросом». Зовите хирургов, решайте вопрос о срочной операции. Перед операцией надо перелить кровь. Группу определили?

– Третья, – сказала дежурная медсестра.

– Готовь систему для переливания, сделай сердечные, ну, в общем, все, как полагается. Давайте лист назначений, я все запишу. И срочно хирургов. Барашков там должен уже заканчивать, значит, звоните туда. Найдите заведующего, пусть срочно придет посмотрит.

– Валентина Николаевна! – раздался встревоженный голос медсестры. Она стояла на пороге с растерянным видом.

– Ну что еще?

– Нет крови третьей группы. С утра была, я сама видела. А теперь нет. Просто не представляю, куда она могла деться!

– Вообще нет крови? Не может быть! Ты хорошо смотрела?

– Я все обыскала. Кровь есть, но нет именно третьей группы.

– Звони срочно на станцию!

– Тина, – голос Валерия Павловича стал глухим, – давление упало почти до нуля и не стабилизируется.

– Елки зеленые! Кровь нужна срочно! Таня, иди звони по отделениям!

– Пока мы ее достанем, он не дотянет до операции, – сказал Чистяков.

Тина заволновалась.

– Может, Марина куда-нибудь переставила банки? Кровь же должна быть! Палыч, подключай аппарат «сердце-легкие»!

Валерий Павлович уже сам развертывал прозрачные шланги.

– Да задвиньте же вы, наконец, ширму! Где медсестры?

В коридоре раздавались визгливые голоса. Девчонки ругались друг на друга.

– Марина говорит, что она не знала, что кровь будет нужна, и отдала третью группу в гинекологию! – плаксиво сообщила появившаяся на пороге медсестра.

– Задвинь ширму! – тихо сказала Тина. Аппарат «сердце-легкие» работал, но больной уже не принадлежал себе. Сердце его захлебывалось от нехватки крови.

– У меня, у Ашота и у Мышки первая группа, – говорила как бы про себя Тина. – У вас, Валерий Павлович, я знаю, вторая. У Барашкова третья, но он в прошлом году болел желтухой, его кровь переливать нельзя. У Марины тоже первая. А у тебя какая? – крикнула Валентина Николаевна новой медсестре.

– Не знаю, – растерянно ответила та.

Татьяна с грохотом подкатила к постели больного каталку, бросила на нее простыню. Быстро расстегнула халат, скинула его и стала при всех через голову стягивать свое новое блестящее платье. Рукава у него были такие узкие, что выше запястья не поднимались.

– У меня третья группа, – сказала она и стала стелить платье на каталку, чтобы было теплее. Сверху она накинула на себя медицинский халат. Через секунду Таня уже лежала рядом с больным. – Лейте! Только если с этого алкаша блохи переползут на меня, я умру от разрыва сердца!

7

– Черт бы все это побрал! – сказал очень опытный заведующий отделением третьей хирургии Валентине Николаевне после того, как осмотрел больного. – Мои ребята только что закончили операцию, размылись и курят. Ваш Барашков еще у нас, выводит больного из наркоза. Давайте, переправляйте этого товарища в операционную, – кивнул он на алкаша. – Я пойду, скажу ребятам, чтобы шли мыться еще раз. Но вы понимаете, – он пристально посмотрел на Валентину Николаевну, – кого вы нам подсовываете? Мы можем его до конца операции и не довести.

– А что в этой ситуации можно еще предложить? – парировала Тина, так же пристально глядя на своего коллегу.

Тот отвечать не стал, просто пожал плечами и ушел.

Татьяна все еще лежала в мужской палате на холодной каталке и сонно рассматривала потолок в мелких трещинках. Они не складывались в узор, просто составляли противную тонкую паутину. Кроме несильной, но тягучей, ноющей боли в руке, она ничего не чувствовала. На душе было омерзительно и пусто. Валерий Павлович молча стоял рядом, следил за приборами, время от времени подкалывал алкашу что-то в вену. Ей он тоже вколол сердечное. Все, что Чистяков делал, он делал бесшумно, и Тане стало казаться, что она лежит одна на всем белом свете.

«Жизнь проходит, – думала она. – А я лежу в этом грязном отделении и отдаю свою кровь никчемному человеку, которого, по совести говоря, мне нисколько не жалко. Допился до прободения язвы, кого же тут винить? Хоть бы Ашот пораньше пришел! Он единственный, кто меня здесь понимает. Он говорит, что красивая женщина – бесценное сокровище, которое надо беречь. Красивые женщины встречаются редко. А мне всю жизнь внушали, что красота в жизни не главное. Что красота быстро меркнет, а профессия остается навсегда. Да в гробу я видела такую профессию! Они-то пьют, хоть удовольствие получают, а у тебя всю жизнь одни стрессы и в итоге загубленное здоровье».

Татьяна так разозлилась, что даже не заметила, как произнесла последние слова вслух.

– Кто же это посмел уложить такую красивую женщину на жесткую каталку, да еще велел ей отдать свою драгоценную кровь? – услышала Таня мягкий голос и почувствовала ласковое прикосновение руки. Она открыла глаза.

– Ах, Ашот, как хорошо, что ты здесь!

Кудрявый Ашот склонился над ее рукой, аккуратно вынул иглу из вены и отключил систему.

– Хватит, дорогая! А то заберут всю твою кровь, и будет тогда женщина не цветущая, как майский сад, а бледная, черная и тонкая, как мартовский снег в Москве. – Ашот, смеясь, перевязал бинтом Тане руку.

– Ашот, дай мне платье!

Он отодвинул каталку, чтобы Таня смогла встать, вытащил из-под нее блестящую тонкую чешую.

– Ну что? Какое давление у него? Не зря я мучилась? – спросила Татьяна, влезая в свои нарядные туфли.

– Ты давай не больно-то прыгай, а то грохнешься! – сказал ей Валерий Павлович и повернулся к Ашоту:

– Верхнее поднялось до шестидесяти и пока держится. Давай вези его в операционную. За этой красавицей без тебя поглядим.

– Слушай, Таня, – спросил Ашот, разворачивая каталку, чтобы переложить больного. – А чего это ты улеглась? У нас что, крови не было?

– Черт его знает, какая-то неразбериха. Маринка сказала, что нет крови.

– А почему выбор пал на тебя?

– А больше некому. Только у меня оказалась третья группа. Аркадий болел желтухой. Хотя этому, – она покосилась на больного, – уже, кажется, все равно, что желтуха, что СПИД. Между прочим, я думаю, Аркадий гепатит тоже при прямом переливании подцепил. Все у нас герои. Так что неизвестно, чем у меня это кончится. Может, сифилисом?

– Да ладно тебе, сплюнь. Вообще-то нечего тебе было на амбразуру ложиться.

– Не на амбразуру, а на каталку. Как тут откажешься? – Татьяна кивнула в сторону Валерия Павловича. – Откажешься, а потом тебя будут фашисткой называть!

Татьяна поправила белокурые локоны. Ашот уже вывозил больного к двери. Валерий Павлович крикнул и тоже вышел.

– А потом еще этот алкаш, – Татьяна кивнула на больного, – будет тебе всю оставшуюся жизнь сниться. – Она смешно скривила накрашенный рот, на котором чуть смазалась губная помада, и завывала: – Это ты, несчастная, не дала-а-а мне-е-е свою-ю кро-о-вь! Вот теперь я приду к тебе ночью и перегрызу твоё горло!

Последнюю фразу Татьяна сказала уже нормальным голосом. Она стояла во весь рост и, изогнувшись, поправляла колготки.

– Извини, дорогая, не могу помочь! – с сожалением прокричал в дверях Ашот, выкачивая каталку.

– А у вас всегда первым делом самолеты, – вздохнула Таня. Колготки наэлектризовались, и подол платья противно прилипал. Решив, что ничего уже, видно, с ними не сделать без антистатика, она снова вздохнула и надела на платье халат. – Ну, а девушки... А девушки у вас всегда потом, импотенты несчастные!

При этих словах в тихой палате кто-то противно загоготал. Татьяна как ужаленная подскочила, обернулась и увидела, что больной-кавказец, отделенный от происходящего ширмой, подглядывает за ней через щель и делает неприличные знаки.

– Иди ко мне! – противным голосом заскулил он.

– Ах ты, козел! – сказала ему уже от дверей Татьяна. – Как за бабами подглядывать, так и про раны забыл, и про перевязку. А полчаса назад стонал тут, корчился от боли: «Ах, не могу терпеть, ах, сделайте укол!» Наркоман несчастный!

– Пошла ты... – отчетливо произнес кавказец и отвернулся.

– Сволочь! – сказала Татьяна и громко хлопнула дверью палаты.

В коридоре у лифта Валентина Николаевна помогала маленькому Ашоту с каталкой преодолеть препятствие в виде невысокого порожка.

– Господи, хоть бы снес кто по пьяни этот дурацкий порожек! – ругалась она. – Сто раз говорила и лифтерам, и мастерам. Невозможно же в одиночку тяжелую каталку сюда затащить. Из-за этого и санитары у нас ни черта не держатся. Нет, всем по фигу! Говорят, если уберем порожек, здесь будет такая щель, что в нее будет проваливаться колесо! Как будто нельзя эту щель вровень с полом забить какой-нибудь доской! – Они с Ашотом поднатужились и подняли с каждой стороны по колесу. Каталка подалась.

– Ну, слава богу, заехали! Я каждый раз боюсь, что меня заклинит после этой каторжной работы!

– А вы хотите, чтобы здесь санитары за триста рублей работали? – улыбнулся Ашот. – Нет, это уж наше врачебное счастье за бесплатно каталки толкать!

– Самая подлость, что врачам санитарскую ставку доплачивать не могут! Только медсестрам. И только с условием, что обязательно надо мыть полы!

– Да бог с ними, с этими тремястами рублями, не пообедем, – сказал Ашот. И Валентина Николаевна отметила, как этот нерусский мальчик правильно обошелся со сложным русским

числительным. Она не гарантировала, что сама в такой ситуации сказала бы верно. Тина вошла в лифт, чтобы помочь потом выкатить каталку.

– Как у тебя первая операция прошла? Ты в гинекологии был? – спросила она, когда Ашот уже готовился нажать на кнопку.

– Нормально. Но было две операции. Одна плановая ампутация матки, а потом трубная беременность с разрывом срочно по «Скорой». Так что мне ставьте две галочки. Кстати, что у нас в больнице с кровью? Там тоже не было крови третьей группы. Потом, правда, нашли. А то, представьте, тоска. Молодая женщина, двое детей. Из брюшной полости литра полтора крови откачали. На «Скорой» ехали полтора часа. Говорят, из-за каких-то начальников дорогу перекрыли, даже «Скорую» не пропускали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.